

Константин СОБОЛЕВ

*Старик,
зачем ты на нее
смотришь?*

Улан-Удэ • НоваПринт
2015

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6-4кр
С 544

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства культуры Республики Бурятия
в рамках Государственной программы
Республики Бурятия «Культура Бурятии»

Об авторе:

Соболев Константин Альбертович – член Союза писателей России, Народный поэт Бурятии, лауреат Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства. Поэт, прозаик. Автор семнадцати книг. Печатался в журналах «Байкал», «Сибирь», «Октябрь», «Сибирские огни».

С 544 **Соболев Константин**
Старик, зачем ты на нее смотришь : рассказы /
Константин Соболев : Улан-Удэ, НоваПринт, 2015.
–280 с.

ISBN 978-5-91121-115-8

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6-4кр

© Константин Соболев, 2015

Предисловие

С ОТКРЫТЫМ МИРУ СЕРДЦЕМ

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

Николай Рубцов

Рассказы и «крупинки», представляющие собой зарисовки и размышления, Константина Соболева составляют две по текстовому объему равнозначные части его книги. Чувствуется не случайность, а настойчивость и постоянство миросозерцания прозаика, который не день и не два, а скорее всего десятилетия вглядывается в мир Подлеморья, вслушивается в звуки своего сердца и души, поселившихся в легендарной Баргузинской долине. Автору удастся передать переливы родной природы и своей души, воплотив их в слово.

Константин Соболев видит окружающий мир полноценно, многокрасочно («розовые на апрельском солнце чайки», «за рекой желтая полоска берега, болото, зеленое широкое, упирающееся вдаль в сиреневое крыло леса» и др.) и многозапахно («Срезанная ветка, очищенная от коры, бела, как снег, и пахнет повесенному сыро и едко»).

Произведения Константина Соболева в хорошем смысле этого слова природоцентричны: природа, её первозданная чистота и всеобъемленность первичны, а человек и его жизнь – это лишь «миг между прошлым и будущим».

И по содержательному складу, и по жанровой природе «крупинки» К. Соболева ближе всего к известным «Затесям» В. П. Астафьева.

Как воздух после грозы и ливня наполняется озоном, так и проза Константина Соболева разряжена, слова дышат, они, как правило, звонкие, отражают радость и печаль бытия, они не наталкиваются друг на друга, а сохраняют между собой жизнедарящий кислород таланта автора.

Фактически во всех рассказах и «крупинках» отсутствует сюжет в традиционном его понимании – как череда каких-либо событий. Конечно, он в каждом тексте в то же время есть, но это, как правило, сюжет мысли, передающий то или иное умозаключение или душевное состояние автора.

Сквозь строчки проступает лик «человека с сияющим от восторга сердцем» (К. Соболев), который радуется Байкалу, тайге, любой пташке. Это человек благодарный, то есть такой, каким и должен быть каждый живущий.

Многие «крупинки» написаны скорее не прозаиком, а поэтом, воспринимающим жизнь как Божью благодать, великая радость

постижения которой и является человеческим уделом. Замечательны по своей многокрасочности и полноте переживания такие «крупинки», как «Синева», «Счастье», «Первый снег», «Скворцы», «Отобедал», «Девочка». Это своего рода стихотворения в прозе.

Вместе с этим восторженный взгляд К. Соболева не сужает масштабы мировидения. Так, например, не выпадает из зоны внимания автора спивающееся население глубиной России. Воспринимает он земляков с жалостью, то есть вполне православно.

Автору этих заметок о творчестве усть-баргузинского литератора посчастливилось бывать в тех местах, которые и есть его малая родина. Прочитав рассказы и «крупинки» Константина Соболева, я испытал еще раз радость от созерцания забайкальской природы, которой дышит каждое слово Константина Соболева.

**Доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы
Хакасского государственного
университета имени Н.Ф. Катанова
Валерий Прищепа**

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Творчество известного сибирского поэта и прозаика Константина Соболева, как первая звезда на ночном небе, которая всегда неожиданна и всегда завораживает. Избрав жанр короткого рассказа о том, что окружает, сам автор окрестил его как «крупинки». Будучи литератором, воспитанным на русской классической поэзии, он продолжает «генеральную линию» классики. Но делает это по-своему. Его рассказы, как у В. Шукшина, В. Астафьева, В. Распутина, о простых людях с их повседневными заботами («Мой друг Санька»), которых ты видишь каждый день и которые основа всего. Его природа, как у М. Пришвина, К. Паустовского («Серебряная россыпь», «Ондатра», «Утиная охота», «На рябчиков», «Лебяжье озеро») прекрасна и неповторима.

Короткие рассказы К. Соболева – это проблемы современного села, отношения между людьми, попавшими в непонятные условия города, память о тех, кому ты обязан, кого помнишь и любишь. Фактически, всё творчество К. Соболева есть история повседневности, к которой пришла современная историческая наука и которая, на самом деле, и есть наша жизнь с её бедностью и спивающейся деревней («Гриша», «Будешь?», «Страшно»). А значит – это всё о вечности.

Константин Соболев, охотник и рыбак, – певец «малой Родины» («День счастья», «Сад»). Его «крупинки» – это, по существу, стихотворения в прозе («Цветение», «Воскресну», «Снегири и Котя», «Все мы собачки», «Спасибо!», «1-е сентября»). Его Баргузин, Шанталык, посёлок Усть-Баргузин видишь воочию. Всё его творчество пронизано любовью к детям, старикам, «братьям нашим меньшим», верой в прекрасное.

Именно поэтому книга «Старик, зачем ты на нее смотришь?» интересна любому слою населения вне зависимости от уровня образования и положения на социальной лестнице. Она заставляет читателя сопереживать, смеяться и плакать, вспоминать и мечтать, делая человека человеком.

**Доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института
монголоведения, буддологии и
тибетологии Сибирского отделения
Российской академии наук Леонид Курас**

ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

Санька встал рано, в пять. На запотевшие окна налипла темнота.

Оделся, вымылся, поставил на плитку чайник и сковородку. Пока чайник уютно гудел, Санька отрезал от колбасы два толстых кружка, обвалял в муке и положил в горячее масло. Нарезал кружочками луковицу, засыпал колбасу, посолил, поперчил. Заварил чай, поставил сковородку на подставку и начал завтракать.

За окном чуть посветлело. Стёкла похожи на зебру. За ними темнеют листья ранеток и краснеющие плоды.

Санька ел сочную колбасу, макал в масло кусочки хлеба, запивая сладким чаем, и смотрел, как на ветке, в стекле, отражается лампочка-груша с широким золотым семечком в середине.

«Надо на магзены...Там утка, наверняка, есть».

И в памяти сразу всплыло широкое, словоно распахнутое, болото, лесок с желтеющими березками, горящими в зелени сосен особенно ярко, сиреневые вдали горы, пухлые тучки, степенно играющие в догоняшки. А рядом желтоватая, глинистая вода проток.

Санька, напрягая память, всмотрелся пристальнее и увидел мальков, похожих на россыпь булавок, а в траве сучковатую шею цапли, дальше – серые остовы стволов, словно охотников, стоящих на перелете, слышал режущий шум трав, тугое гудение сосен и чей-то сочный хруст в камышах... и очнулся. Это на зубах лопался поджаренный кусок колбасы.

Пора! Рюкзак с торчащим в чехле ружьем собран ещё с вечера.

«Ничего не забыл? Ружье, патроны, нож, ключ от гаража, блокнот, ручка, сигареты, зажигалка...» – закинул за спину рюкзак и вышел.

В холодной матовости неба переливается мокрым золотом Венера. Глухо лают собаки, хрипло кричат петухи. Тёмный песок дороги весь в птичьих письменах. Но что написано – не разобрать. Да и некогда.

Гараж с лодкой был недалеко – тридцать минут ходьбы. Но от нетерпения этот путь всегда казался Саньке долгим, и, чтобы обмануть себя, он стал смотреть по сторонам.

Вот темная фигурка парня, жаждущего опохмелиться, сгорбленно спешит в круглосуточный магазин. Как быстро опускается человек!

Санька вспомнил знакомых и малознакомых людей, задохнувшихся в пьяном угаре.

Вот А., тугой, как шар. Его центнеровая туша, казалось, могла бы жить вечно. Но за четыре

года водка высосала из него богатырскую силу, хорошо оплачиваемую работу, дружную семью. Он, сменив несколько мест и, опускаясь всё ниже и ниже, превратился в бомжа. Однажды, на мгновение увидев, кем он стал, повесился.

Вот Р., спившийся, погибший под машиной. Месяц забытый всеми пролежал в морге, пока не опознала бывшая жена.

М., когда-то элегантный, талантливый, мастеровой. Жизнь распаивалась перед ним, как молоденькая бабенка, жаждущая любви и заботы. И как быстро он всё промотал! Пьянки сожгли его тело, превратили в труху душу, не оставив никакой надежды на будущее.

Увидев его незадолго до его смерти, Санька испугался: брёл старик с темно-неподвижным лицом, весь в себе, вернее, давно потерявший себя. Казалось, невидимый ветер времени нес не тело, а скукоженную шкурку, ненужную никому. Он умер, выпив суррогатного спирта.

Вот К., дряхлый птенчик с трясущейся головкой. Его руки ходят ходуном, словно ловя самих себя. Он ничего не помнит, не может ответить на детский вопрос. И каждому, пусть неосознанно, хочется бежать от него подальше.

Вот С., допившийся до того, что начал ловить чертей. Однажды, зайдя в дом, с гордостью сказал: «Я сейчас в огороде чертей напинал!» Затем зажёл спичку и, пристально оглядев близких, задумчиво произнес: «Так вот вы какие, черти!»

Он допил до того, что потерял речь. Язык, похожий на пожарную кишку, издавал жалкое «бу-бу-бу». С. давно на кладбище.

«Сейчас его могилку, – подумал Санька, – засыпали бурые листья берез. Пусто. Тихо. Только орет ворона да стучит на сухой лесине дятел».

Нескончаемая вереница сынов человеческих, умерших ещё при жизни, проходила перед Санькой так зримо, что ему хотелось оглянуться.

И сами собой стали всплывать в памяти стихи:

Сгибается душа России
Под гнетом болей, бед, обид.
И в небесах по-русски синих
Лик Бога явственней скорбит.
И что нас ждёт, никто не знает.
Лишь золотой телец в цене.
И двери ада, а не рая,
Открыты спившейся стране.

«Мама и папа, не пейте!» –
Крик на слезинке-листе.
Осени медной копейки
Тихо звенят на кусте.
Что же случилось с Россией?
С нами? Когда? Почему?
Дети – все дети красивы! –
Сами уходят во тьму.

И ни просвета, ни ласки.
Чёрная пьяная тьма.
Звёздочки – детские глазки –
Сверху глядят на дома.
В доме поминки. И кто-то,
Словно спускаясь на дно,
Вышел с трудом за ворота
И, изрыгнувши блевоту,
Смотрит на дом. В нём темно.

Всё меньше русского духа
На Родине милой моей.
Пустая деревня, старуха,
И мёртвая тишь без детей.
И вижу я русские дали
И лес, что синеет вдали.
Над ними, как символ печали,
Рыдают навзрыд журавли.
О, Русь моя, милая мама,
Я, слёзы стирая с лица,
Шепчу: « Неужели бараном
Нам всем дожидаться конца?!
Неужто не хватит нам силы
И веры извечной в груди?»
Но предков великих могилы,
Как славного вехи пути,
Зовут: поднимайся, Россия,
Будь сильной и духом крепка!
И вижу: за облаком, в сини,
Нас Господа крестит рука.

Санька очнулся и увидел огромные от молчания и холода тополя. Руки мерзли, изо рта шел пар.

Хозяйственный мужичок гонит коров. На дороге, дышащей сырой горечью, еще теплые лепехи.

Вспомнился городской подъезд и наваленная на площадке чья-то выворачивающая душу куча, пахнувшая удушливо и сладковатотрупно.

Чтобы отогнать воспоминания, Санька стал смотреть в набухающую синеву, на звезды, похожие на осколки разноцветного стекла.

А вот и пилорама леспромхоза. Дышит запахом чуть горящих опилок и корья. Запах, знакомый с детства, когда леспромхоз был в силе и, кроме свежераспиленного леса, пах соляркой.

Вот и болото, рыже-огнистое, как шкура лисицы.

Санька ускорил шаг. Ему шлось необыкновенно легко. Он казался себе высоким, былинным богатырем.

В синеве золотился рожок луны. С реки одеялом сползал туман. Лес на том берегу выступал оторванными от земли островками, неретальными, словно во сне.

На бугре три вороны черными старушками переругиваются на гортанном языке. С утра что-то не поделили.

Солнце начинает испаривать косматый верх тумана. Он нехотя алеет, затем, разгораясь, вспыхивает.

У гаража земля в ямах, ходах. Нарыли ондатры.

Хрипло крикают утки, темнея на глади, как пупырышки. Большие чайки похожи на плывущие сугробы.

Санька открыл гараж, столкнул в проснувшуюся воду отяжелевшую от безделья лодку. Сложил ружье, достал патронташ, зарядил и – с Богом! Лодка радостно зашумела, словно потягиваясь со сна.

Солнце взошло, слепило, накатывая на встречу холодное пламя зеркальной воды. Вокруг Санькиной тени, такой осязаемо четкой, что казалось, по траве плывет ещё один Санька, полыхало росистое серебро.

Вдалеке у края травы засуетились, как мыши, чирки. Санька крался, не дыша, слившись с лодкой, словно во сне опуская весла. Вспыхивая, с них капали капли. Саньке чудилось: они вскрикивали, и ему хотелось шикнуть на них.

Чирки близко не подпустили, взлетели. Ружье ахнуло раз, другой – и один чирок шлепнулся в воду, перевернулся и, белея узким брюхом, безвольно зашевелил лапками.

Санька свернул ему шею, она слабо хрустнула. А Санька увидел себя со стороны, но не сегодняшнего, а в далеком-далеком прошлом:

хищный сильный, весь сплошные мышцы на крепком костном остоге. Этот пещерный человек потряс добычей и закричал от счастья, переполнявшего его плоть.

Он ещё не знал смерти, жил сегодняшним днем, вернее, вся жизнь была один день с плотскими заботами и радостями, яркими, пахнущими теплой кровью и кричащими на разные голоса. Он был растворен в природе и умирал естественно, как листва деревьев, ещё не названных им, листва, сгорающая ранними утрами под обжигающим острым холодом первого чистейшего инея. А соплеменники шли и шли дальше, чтобы дойти до сегодняшнего Саньки, которому такие счастливые дни, когда он жил естественно, как зверь, выпадали очень редко. Ведь что счастье? Разве не полное принятие мира каждой клеточкой своего тела?

Санька положил чирка в рюкзак и поплыл дальше.

Святой Нос, словно розовым бархатом, покрылся солнцем, стал ближе и по-домашнему роднее. Мягко засияла водная гладь, успокаивая и нежа, словно ребенка.

За поворотом Санька завалил еще одного чирка. День начался удачно. И то, что это было только его начало, делало Саньку ещё счастливее.

Ружье, упираясь стволами в рюкзак, лежащий на дне лодки, прикладом покоилось на

ноге, чтобы быстрее схватить, вскинуть, поймав на мушку утку. Хотя эти движения Санька никогда не помнил, да и мушки не видел, делая всё инстинктивно, неосознанно.

По пути он проверял сети. В первом конце сидело два налима, темных, узких, упруго изгибающихся, как небольшие питоны.

Полотно уже забила слизь, и Санька тряс в воде сеть. Мутное длинное облако медленно опускалось на дно. Вода по-осеннему посветлела, видны зеленоватые водоросли и рыжие отмели.

Во второй конец попал плотный с ладонь окунь, шустрый, злой. Когда Санька вытаскивал его из сети, окунь, пугая, поднял иглы, забился. Сверкнули плитками серебра два подъязка.

В третьем изгибалась килограммовая щучка, зеленоватая и злая, как собака, готовая цапнуть за что угодно. Санька вспомнил, как однажды, вытаскивая крючок, он по глупости сунул палец в щучью пасть. Пасть сомкнулась. Санька сжал щуку, она разжала челюсти с такими острыми, как бритва, зубами, что Санька даже не почувствовал боли. С пальца текла кровь.

Трава уже сбросила росное серебро. Дул легкий ветер. К обеду он усилится и будет дуть до самого вечера.

Санька заехал в траву. Правая нога от сидения так затекла, что он с трудом встал, болтая

ею, словно тряпичной, чужой. Наконец кровь прилила, по пальцам прошла колющая дрожь, и нога вновь стала Санькиной.

Река давно уже не зеркало. Вся она полыхающий солнечной рябью неподвижный поток. У леса, белесо трепеща, протянула стайка чирков. Пронеслась в вышине одинокая кряква и, превратившись в точку, растворилась в отцветающей синеве. Где-то далеко прозвучал выстрел и, задумчиво погромыхав эхом, затих. На борт села огненная стрекоза, устало опустила стекловидные крылышки и замерла. И время, до этого стремительно и незаметно летевшее, остановилось.

Санька, лодка, река, зеленый простор болот и пухло-сиреневые облака. Да ещё счастье, пропитавшее каждую клеточку покоем и отдохновением от извечных проблем и суеты.

Что жизнь вечная? Не есть ли она вот этот никогда не прекращающийся покой?

Ружье сползло с ноги, Санька подхватил и вспомнил, где он, и поплыл на магзены. Пошлепывают о борт волны, шепча лодке: «Ну что, старушка, давай гребь на простор! Ах, ширь, ширь, шшшиирь!»

Магзены – плотный, малахитовый простор трав, чуть подкрашенный сверху солнечной синевой. Застывшее старое русло речки с желтой, словно мертвой, водой, уводящее в глухие клюквенные и глухаринные места. Простор по краям окаймляют сухие лиственницы, серые

корневища, пни, редкие березы и пушистые сосны.

Стоило Саньке заплывать в магзены, как его охватило чувство одиночества, отрезанности от мира, который олицетворял поселок с гудением машин, лаем собак и голосами, слышными на воде так далеко. Здесь была полная тишина, неподвижность неба, воды, трав. Даже утки взлетали не так шумно.

Русло, распавшись на множество протоков, озерков, уводило всё дальше и дальше, засасывая своей безлюдностью.

Санька лег на теплый, нагретый солнцем подтовар, положив под голову рюкзак. Лежал, курил и смотрел в синеву, где, как верилось в детстве, живет Бог. Вон за тем облаком...

Облако, как тесто, клубилось тугими белыми боками, поднимаясь всё выше и выше. Саньке стало за него страшно: куда так далеко? Сорвется.

Вновь прилетела стрекоза, но уже голубовато-большая. Села на борт, вращая блестящими глазищами, готовая взлететь при малейшем движении.

«Эх, жить бы где-нибудь на берегу, в зимовье, в глухом месте, пропахнув дымом костра, запахом воды, рыбы, дичи, забыв про дела, проблемы, вечную жажду успеха, соблазны тщеславия и гордыни, общаясь только с лесом, птицами и зверьем!

Что рай? Забвенье суеты и болячек. Но рай возможен и здесь. Что желаешь, то и будет. Всё в тебе...даже Бог. И нет ничего, кроме твоих мыслей, чувств, желаний.

А зимой? Зимой здесь большие снега, а ма-гзены – белое поле с крепким настом, покры-тое неподвижно бегущими снежными волна-ми, свеями. В лесу глушь, пухлые подушки на соснах, елях, следы зайцев, лис, косуль.

Нет, зимой здесь будет слишком одиноко, холодно. Хотя можно срубить зимовье, по-ставить железную печурку, соорудить нары и стол. Зимовье поставить рядом с ручьем.

Вечерами при свечах писать и читать. А за-тем, завалившись под старую шубу, слушать, как потрескивает мороз. В окошко светит пол-ная, как молодая бабенка, луна.

Саньке вспомнилась картина, висевшая у бабушки: мужичок в кошёвке, лошадка, заин-девшая на морозе, въезжает в деревушку. До-мики как белые шапки, над ними сизый дым, а за деревушкой – гольцы до самого неба, вернее, до рамки. Краска потрескалась, побелела, оче-го зима на картине выступает зримо и сонно.

Где та картина? Кто был художник? Навер-ное, местный любитель, может, и ссыльный, их было немало в Баргузинском районе. И не потому ли, замороженный тайной, Санька, сладострастно вдыхая запах масляных красок, истово малевал куски картона. Но запах слов оказался сильнее и таинственнее.

Санька закрыл глаза, тело стало невесомым и поплыло.

Ему приснилась пенистая зелень, плотная, темная, шелковистая на солнце. В зелени, как подсолнух, светилась чья-то головка. Санька приблизился и увидел мальчика лет пяти. Мальчик протянул Саньке горсть гороховых стручков, набитых изумрудными картечинами, светящимися сквозь тонкую, тоже сладкую, как горошины, кожуру. В мальчике Санька узнал себя, давно забытого, маленького.

«Да это же бабушкин огород! Она всегда сажала горох в картошке», – подумал Санька. Он погладил мальчика по мягкой головке, пахнувшей молоком и солнцем. Мальчик застенчиво улыбнулся, взял Саньку за руку и повел в зимовье. За столом сидели бабушка и дедушка, пили чай.

– Да они же давно умерли! – сказал Санька. Но мальчик замотал головой:

– Они живы, пока жив ты!

На столе лежал горячий калач. Мальчик налил в глубокое голубое блюдо молока, накрыл в него парящий горячей мякотью калач и протянул Саньке. И Санька проснулся.

Рядом в траве крякнула утка, наверное, подплыла, когда он спал. Санька шумнул веслом, и кряква взлетела. Ружье радостно ахнуло, и утка тяжело рухнула в траву.

«Это надо же уснуть на охоте! Старею...»

Местами протока терялась, и Санька тянул довольную лодку (не всё же ей возить!) через траву и заросли молоденьких берез до следующей протоки или озерца, каждый раз выпуская стайку чирков или парочку крякв. Он набил семь штук, был потный от напряжения и потому проголодался.

Ткнувшись лодкой в заросли высокой травы, достал из рюкзака термос, бутерброды с колбасой и сыром и начал есть.

Поесть он любил. Его стокилограммовая туша, полная костей, мышц и жира, при виде еды жила сама по себе, наслаждаясь возбуждающими запахами горячей пищи, осязая острый, жирный вкус. Туша с наслаждением, до пота, трудилась над столом, любя эту работу больше всего и боясь, как бы мозг не дал отбой: «И куда ты жрешь столько?» Поэтому в минуты, когда мозг был занят своими, не менее приятными для него делами: размышлениями, мечтанием, планированием – туша насыщалась про запас, а то, не дай Бог, увлечется голоданием.

Санька вспомнил сон. «Неужели я действительно был маленьким, и вот пятьдесят? Ещё десять, максимум двадцать лет, и меня не будет. Но и того мальчика больше нет. Сегодняшний я совсем другой человек. Я даже не помню почти ничего. Как он жил? Что думал? Его радости? Печали? Какими они были? Он другой уже потому, что впереди у него целая жизнь.

Каждая его клеточка трепетала от ожидания чуда. А я постарел, и детское ожидание счастья отмирает во мне. Всё привычно, предсказуемо, серо. На прошлое я смотрю, как змея на сброшенную шкуру – и свое, и уже чужое.

И всё же детство осталось. Оно проступает в минуты творчества. Суть творчества в детстве, когда всё внове, мир огромен, яростен и завораживает неизвестностью. Потом он тускнеет, сжимается в своей привычности. Но детская память сердца в редкие минуты вспыхивает, как брошенный в ночь фонарик. Поэты просто люди, у которых фонарик вспыхивает чаще».

Санька доел бутерброды, допил из термоса сладкий чай.

– Ну вот поел – и в путь! – сказал он вслух.

С разрушенной хатки ондатры невольно спугнул птенца крачки. Похожий на ком ваты, тот неумело заметался в воздухе.

Родители и многочисленная родня, истерично крича, начали угрожающе пикировать. Санька налег на весла, и лодка быстро умчалась от греха подальше.

А крачонок сел в травы, шелковисто сияющие на солнце. И там, где он сидел, суетилась в воздухе, поучая и ругая птенца, его многочисленная семья.

Эх, так бы у людей!

Милая моя речка, – думал Санька, – ты постарела, съежилась, стала привычной, как родной человек. И когда я умру, ты будешь сиять

травами, слепить водой, пахнуть болотной сыростью, жестяно шуметь саблевидным розом.

Вечерами, когда далёкие лиловые горы с бархатными тенями в ложбинках будут укладываться спать, а в ближнем лесу начнет медленно светиться в закатном солнце сучковатая сосна, так же будет бегать, раскачиваясь на паутине, как на канате, толстобрюхий паучок, так же неслышно будут резать темную воду мальки, похожие на маленькие стрелы, и сидеть на подтоваре лодки малиновая стрекоза, низко опустив крылья, как вертолетик, сидеть устало, но зреть во все стороны, взлетая при малейшем движении руки вверх, в небо, где сиговой чешуей серебрятся перистые облака.

Милая речка, ты давно течешь в моем сердце, как река воспоминаний. Лица уплывших в вечность охотников, случаи, восходы и закаты, ветра, теплые, как ручки ребенка, и колюче-мозолистые, блеск воды, от которого начинают бегать в глазах малиновые мурашки, запахи тины, сгоревшего пороха и рыбы, плеск волн, свист уток и сухой шум трав – всё это навсегда во мне.

Сегодня ты подарила ещё один день счастья. Спасибо тебе!»

Санька махнул реке рукой, поправил вдавившуюся в плечо лямку (рюкзак заметно потяжелел от усталости, уток и рыбы) и зашагал в сторону поселка.

САД

Сад вваливался в жизнь мальчугана весной, в апреле, когда в саду начинала проглядывать парящими островками земля, а на ранетках петь синицы, обычно хлопотливые, но молчаливые птицы. Весной синицы словно сходили с ума – весь день сыпали в солнечную синеву звонистые трели.

Снег, как злой старикашка, зиму прятывший всё интересное, что есть в саду, открывал тёмный сундук.

Мальчуган, в резиновых сапожках, с палкой, целыми днями всматривался, вдыхал, нюхал, трогал. Он был похож на невиданного щенка, научившегося ходить на задних лапах и вперые выпущенного на волю.

Вот «щенок» отломил ребристую сосульку и сунул в рот. Сосет...Ничего, горчит только.

Приходил в «конуру» промокший насквозь.

Особенно поражал мальчугана сад в начале лета. Буйно лезла молодая трава, выводками цыплят рассыпались одуванчики. Сад дышал молоденькой сияющей зеленью, белыми и свежими, как весенний снег, ранетками и цветением вишен, похожим на зарю.

А как мягко сияла вечером в зеленоватом небе золотистая звезда и цыпленком тянулся и тянулся в головокружительную бездну месяц!

Как матово и прохладно светились цветущие ранетки, вишни! Какой первозданно-чистой свежестю пахла земля!

Как сжималось от непонятного – красоты, неясных грез и надежд – сердце мальчугана! Так сжималось, что он, не в силах быть таким счастливым, глубоко вдыхал полной грудью и бежал в дом.

Затем лето матерело, грузно наливаясь плодами, и, как плод, зрел в саду мальчуган.

Главными заповедными местами сада были, конечно, углы, темные, сырые, заросшие крапивой, пыреем, иван-чаем, с брошенными, а потому особенно интересными вещами. Это мог быть и заржавленный от бочки обруч, который можно попробовать катать, как колесо, предварительно сделав из толстой проволоки специальное приспособление, и тяжелая гайка – отличное грузило на закидушку, и кованый гвоздь с широкой, как у гриба, шляпкой, и сломанные игрушки: остов от автомобиля или часть пистолета. Но чаще всего попадались консервные банки, бутылки и битое стекло.

Один угол, особенно темный, пахнущий гнилью, зарос вербой, старой, с сухими мертвыми ветками, заметной лишь раз в году, на Пасху, когда верба, возрождаясь, покрывалась пушистыми «барашками», серебристо-бархатистыми и светящимися на солнце.

Каждый год бабушка отправляла мальчугана нарвать букетик этих «барашковых цветов».

Мальчуган обследовал углы редко, просто забывая об их существовании. Может, поэтому

они и не теряли новизны! В саду было много других не только интересных – вкусных мест!

Места в течение лета менялись. Сначала не-преодолимо тянули грядки, по краям которых надувала красные шарики редиска.

Мальчуган мыл редиски колодезной водой и, наскоро вытерев о рубаху, сочно хрумкал. В эти мгновения голубоватые глаза его, как сад после дождя, влажно сияли.

А там невидимый лук лета уже натягивал зеленые стрелы «ботуна». Мальчуган раздваивал стрелку лука, посыпал солью и ел, ел...

Затем можно было подергать похожую на солнечные лучи морковку.

Позже маленькими солнышками начинала светиться репка, круглобокая, сладкая.

В августе в парниках под колюче шуршащими широкими листьями уже не могли спря-таться от мальчугана огурчики – зеленые в пупырышках поросятки. Мальчуган налавливал их целый таз и, ликуя, нес бабушке.

Разрезанные вдоль, они пахли, как казалось мальчугану, весенним снежком, почему-то зеленым и мокрым.

А там поспевали и ягоды: малина, клубника, смородина, крыжовник, вишня.

Малиновые пупырышки, сначала розово-твердые, затем темно-красные и мягкие, легко отваливались от белого, похожего на козий сосочек, основания. Иногда внутри малиновых чашечек извивался солнечный червячок.

Ближе к осени забытые крупные ягоды падали на землю. Они казались мальчугану самыми вкусными.

Ежедневно бабушка давала ему задание: набрать большую железную кружку малины. Но в саду было столько интересного, что набрать целую кружку мальчугану никогда не удавалось!

То на ветку ранетки садится птичка, маленькая, нежная, хвостик её мелко-мелко подрагивает, словно вспыхивает невиданный огонёк.

То по гнилому забору пробирается кот, такой толстый, что кажется: дымчатая свинья залезла на забор. Сейчас как свалится!

Мальчуган хватал сухой ком земли – пли! – и на черной доске лопался пыльный взрыв. «Свинью» как ветром сдуло!

То изумленно шевелил длиннющими усищами черный жук, невольно сбитый мальчуганом с листьев малины. «Стригун! Волосы стрижет!» – и мальчуган безжалостно давил жука уже истрепавшейся за лето сандалией.

То начинал кружить коршун. «Цыплят высматривает! – и мальчуган мчался предупредить деда. – Вдруг из ружья стрельнет, а то и мне даст!»

То... да мало ли было причин, по которым ну никак не удавалось набрать полную кружку!

Особенно трудно собирать крыжовник. Чуть зазевался и проколол шипом палец.

Вот клубнику собирать было легко – она сама собиралась, но почему-то прямо в рот. Кажется, крупная ягода – мигом кружку наберешь! Но собираешь, собираешь... Поэтому эту ягоду на самое вкусное варенье – зимой редко-редко, по праздникам, лакомился им мальчуган – бабушка с утра собирала сама.

Легко было собирать смородину. Она росла гроздьями. Не берешь – доишь. К тому же многого не съешь – не сладкая, так что это «задание» мальчуган выполнял быстро.

Смородина, особенно если размять лист, пахла душисто-пряно, «духовито», как говорила бабушка.

«Смородина, как родина, тянет запахом», – прочитал где-то мальчуган, но уже потом, став взрослым.

Шатрообразные кусты вишни горели множеством уже отделанных рубинов, и мальчугану каждый раз казалось, что он собирает не ягоды, а драгоценные камешки, брошенные впопыхах сбежавшими пиратами. Сколько историй вспыхивало в воображении мальчугана!

В сентябре сад «зацветал» вновь, уже листьями, травами. Пылал жарко короткое время, а затем редел, светлел, пустел. Грустно было смотреть на снятые грядки, голые, словно облысевшие, с двумя-тремя забытыми зонтиками укропа. Даже углы становились открытыми и больше не манили.

А потом падал снег, сначала небольшой. На травах покачивались пуховые шапочки. Розовые снегири, садясь на толстый стебель, чтобы покушать семян, сбивали шапочки на землю.

Но однажды снег заваливал сад основательно, скрывая даже кусты смородины. И всю зиму сад был похож на одну большую грядку, по ней, как и по настоящей, мальчуган не ходил, только смотрел из окна то на пушистый снег, то на звезды – полыхающие морозные цветы, никогда не дающие плодов.

МОЙ ДРУГ САНЬКА

Низенький, коренастый, глаза всегда распахнуты. И хотя давно в возрасте, много в нем от ребенка: любопытство, озорство, невежество. Даже пьянеет, как ребенок, от одной рюмки. А главное – неистребимый аппетит к жизни.

Помню наше знакомство. Я вел в парке, напротив его дома, секцию по гиревому спорту. Коренастый мужичок шустро перемахнул палисадник и, лучась любопытством, схватил гиру, неумело поднял. Лицо его по-детски засияло такой радостью, что я невольно заулыбался и начал с энтузиазмом показывать ему, как нужно правильно выполнять это упражнение. Так мы и подружились.

Давно известно: дружбу, кроме взаимных симпатий, питают общие интересы, дела. Без них дружба быстро чахнет, превращаясь в просто эпизодические товарищеские отношения.

Нас связывал спорт: совместные тренировки, поездки на соревнования, пропаганда здорового образа жизни среди школьников и молодежи.

Санька оказался незаменимым в секции человеком. Он не только достойно выступал на различных соревнованиях, занимая третьи и четвертые места, что в его возрасте было настоящим успехом, но и, будучи профессиональным водителем, был мастером на все руки.

Нашу секцию ежегодно гоняли из одного помещения в другое. Происходило это всегда так: сначала руководство леспромхоза, строительной организации и т. д. выделяло нам заброшенные комнаты. Мы белили стены, красили полы, рамы, двери, врезали замки, делали на окнах металлические решетки (нас несколько раз обворовывали), ставили тренажеры, завозили «железо» (гири, штанги, гантели), находили простенькую мебель.

И когда через год кто-нибудь из начальства «случайно» заходил к нам, то сначала изумленно ахал, а затем через какое-то время вызывал в кабинет и говорил: «Всё, ребята! Нам эти комнаты самим нужны (называлась весома «причина»). А мы вам другие подыщем!»

Часто и не подыскивали, и мы шли в другую организацию. Благо, времена были социалистические, и каждая организация была обязана заниматься со своей молодежью.

За годы работы секции мы сменили не менее десяти помещений. И каждый раз неунывающий Санька, одержимый хозяйственным зудом, первым засучивал рукава, мыл, чистил, красил, врезал, прибывал, ввинчивал лампочки и договаривался с бабенками насчет побелки. С ними он вел себя наподобие весеннего кота, аппетитно урчал, глядя на них снизу, заигрывал, простенько шутил, впав в учительский раж, даже начинал учить, как правильно поднимать гири, и безудержно хвастался спортивными победами.

Сентябрь. Бабье лето. Тихо, солнечно. Дали распахнуты. Сизые горы с рыжими боками желтеющего березняка будто рядом – погладить можно.

На картофельной ботве, похожей на ржавую проволоку, блестит «богородицына пряжа» – серебряная паутина. Санька, в кирзовых сапогах, старенькой футболке и верхонках, копает картошку.

– Бросай! Поедем на перелет, да и сети поставим!

– Сейчас!

Санька, хотя и далек от охоты и рыбалки, как истинный друг, отказать не может. И вот мы уже стоим в редком соснячке. Соснячок полос-

кой тянется вдоль Шанталыка, узкой речушки, заросшей тальником, камышами, окруженной болотом с редкими островками, поросшими соснами, березами, ольхой.

Из густеющей синевы сначала выпадает свист, затем черные, словно мохнатые, стайки уток. Наши ружья ахают – и, оторвавшись от стаи, темный ком тяжело ударяется о землю, подпрыгивает, как мяч, и затихает.

У Саньки старинная курковая двустволка. И, хотя Санька – охотник неважный, дедовская двустволка, ронкая и дальнобойкая, его выручает.

Раз он сбил крякву с такой запредельной высоты, что я в таких случаях даже не поднимаю свою «вертикалку»! И, как обычно бывает в жизни, неважный охотник сбил её одной дробинкой, попав прямо в сердце. В этом мы убедились в тот же вечер, общипав и разрезав крякву: продолговатое, словно желудь, темное сердце было пробито.

Санька не охотник и не рыбак. Это я всеми силами пытался эгоистично завлечь его. Помню, как в мае, на весенней охоте, увидев сидящую на кочке ондатру, я поднял ружье:

– Постой! – сказал Санька, снимая весло. – Мы и так убьем! Ещё патрон тратить!

Ондатра, похожая на коричневый мячик, с любопытством поглядывала на нас. Я опустил ружье. Но только двинулись – «мячик» нырнул.

Санька с поднятым веслом сначала с изумлением разглядывал пустое место, потом вопросительно посмотрел на меня. Я беспомощно развел руками и произнес:

– Ладно, ты не охотник, а я-то какой дурак! Эх, Санька, только человек может покорно ждать, когда его убьют, только человек, но не зверёк! Зверёк умнее!

С охотой связана у Саньки совсем не охотничья история.

Санька пил чай, вернее, ругался со старшей дочкой Людкой. Он только что открыл банку сгущенки, которую полюбил, будучи три года подводником, как зашла с помойным ведром Людка.

– О! сгущеночка! – сунула грязный палец в банку, подцепила... и в рот.

Санька даже дар речи потерял. Вытаращил глаза и угрожающе тыкал вверх пальцем. Людке, конечно бы, влетело, но тут со звоном посыпались стекла в теплице и раздался глухой удар.

«Кирпичом... сволочи!» – пронеслась в голове мысль, и еще быстрее мысли Санька выскочил на улицу. Но улица была темна, пуста и молчалива. Санька забежал за угол, но и там никого не было.

– Да что же это? – и, схватив фонарик, побежал в теплицу. В желтом луче синевато вспыхивали на листьях стекла и сказочно краснели тугие помидоры. – А вон и кирпич! – нагнулся. – Да это же...утка!

Подранок, видимо, протянул сгоряча километр и с высоты обрушился на теплицу.

– Два стекла вдребезги! Но жирная! Ты попробуй! – возбужденно кричал на следующий день Санька, подвигая мне тарелку с уткой. Она, действительно, была необыкновенно жирная.

Как не охотнику и не рыбаку, ему иногда везло, по-крупному! Раз в апреле он, попросив старика-соседа обвинить ему один крючок, сел на велосипед и покатыл на Байкал. Подъехал к одной из многочисленных «камчаток». Мужики лениво подергивали мотыльками, курили, разговаривали. Не ловилось.

– Мужики, я порыбачу!

– Лови, всё равно не клюет!

Санька присел у одной из лунок – лед около лунки, с втаявшими высохшими бормашами, уже проедало талой водой и солнцем – и опустил мормышку. И сразу клюнуло. Омуль, хлюпая пустым ртом, забился на льду. Санька хлопнул его сачком, и омуль, краснея брусничными каплями крови, затих.

Любуясь серебряным блеском его чешуи, Санька подержал холодную рыбину в ладони. Тяжела! Больше ни хлопать сачком, ни любоваться Саньке не пришлось. Только опустил мормышку – клюнуло. И пошло, пошло... Около лунки уже россыпь прыгающей, трепыхающейся, лежащей, как серебро, рыбы.

Мужики, матерясь, обсверлили Санькину лунку со всех сторон и – ничего! Хотя бы одна

поклепка! Неизвестно, чем бы это кончилось (зависть – штука опасная) если бы Санька не оторвал, зацепив за зубчатый низ лунки мормышку! На другую ни разу не клюнуло.

– Два огромных банных таза рыбы! Целых два! – кричал Санька, таща меня в дом, чтобы показать свой сказочный улов. – Если бы не оторвал, представь, сколько бы я мешков поймал! А? А как везти? Я ведь на велике! Эх, жаль, ты на работе был! Сколько бы мы вдвоем поймали?! – Санькины глаза изумленно сияют. – Я соседа попрошу вновь нам обвить! Завтра с собой большие сани возьмем!

Но дед забыл, чем обвинял вчера мормышку, а на те, что обвинил вновь, мы за целый день поймали вдвоем лишь трех маленьких харюсков. Так и привезли их на огромных саниях.

А потом Санька увлекся моржеванием и меня затянул. Правда, в проруби в феврале я с ним не купался. Было жутковато. В белом льду чернел квадрат стальной воды. Посвистывал хиус, и колюче звенел зернистый снег. Не то что лезть, смотреть в черную льдистую воду было страшно! Но плавать у парома бегал с ним весь октябрь.

Только рассвело. На реке холодный туман. Кажется, река зябко кутается в белую шубу. Изо рта пар. Мы раздеваемся, энергично машем руками и осторожно входим в воду: мало ли что могут бросить проезжие!

Поселковый люд, собравшийся с утра пораньше кто на охоту, кто по ягоды, показывает на нас, крутит у виска пальцем, гогочет:

– Муди не отморозьте!

Санька ноль внимания. Собран, поигрывает напряженными шарами бицепсов, бугрится мощной спиной, окунувшись, красиво плывет саженками.

Народ замолкает, смотрит, и видно, что про себя восторгается.

Зимой Санька в одних плавках делал утрами пробежку.

Звезды потухли в морозной стыни, но ещё темно, лишь белеют столбы дыма. Санька неслышно бежит босиком по краю дороги. Ступни жжет, но тело уже привыкло к холоду, даже пупырышками не покрылось. Впереди темнеет женский силуэт.

«Баба в шубе. Надо контрастный душ делать! Толстая как кочан. А машину – в ремонт!» – привычно шуршат, словно снег под ступнями, мысли.

Поравнялся. Тетка оглядывается и, крича: «Спасите! Насилуют!» – с неожиданной легкостью прыгает в сугроб, пытается перелезть через забор.

«Дура! Вот дура!» – и Санька бежит дальше.

– Представляешь, она меня за маньяка приняла! Это что, я её в сугробе что ли... Совсем дура! Толстая. Глаза как лампочки. Аж горят от страха. Я даже не остановился!

И шутил он как-то по-детски. Раз, лентясь вывезти на свалку мусор, насыпал его в картонные из-под тушенки коробки, красиво заклеил швы синей изоляционной лентой и положил на дорогу.

– Смотрю из-за шторы: мужик на «Урале» едет. Остановился, соскочил, озирается. Никого нет. Закинул коробки с моей «тушенкой» в люльку и как газанет! Земля из-под колес полетела. Вот дома-то наварил супец! Ха-ха-ха...

Старая, всё чаще оглядываюсь назад, вспоминая, как и большинство людей, не «судьбоносное и великое», а житейское, простое, близкое сердцу.

Шанталык. Плоскоденка. Санька на веслах, я на корме с ружьем. Утка с оглушительным хлопаньем крыльев вырывается из травы. Я вскидываю «вертикалку», Санька, зажав уши, ныряет на днище лодки. Резко грохочут выстрелы. Кряква тяжело рушится в траву, подняв фонтан брызг, они слезинками сияют на зеленых стеблях.

– Пятая! – кричит Санька и шумно гребет к месту, где упала утка. Берет, и мы плывем дальше.

– А помнишь, – говорю я Саньке, – как мы с тобой с соревнований из Петропавловки возвращались?

– Помню, помню! Доехали до Горячинска, а дальше пешком.

– Думали, кто-нибудь дорогой подсадит.

– Ага, посадил через двадцать пять километров! Хорошо, что мой знакомый водила попался.

– Открываем дверцу. В кабине старуха держит в руках коробку яиц. Ты сел мне на колени, да ещё старухины яйца держал. Так и доехали. Я не вышел – сполз. Ноги затекли – не держали!

– А я тебя до скамейки довел. Соседка подумала, что мы нагулялись. Помнишь, говорит: «А ещё спортсмены!»

– Тише!

Взлетает утка. Ружье дважды сухо щелкает. Мимо...

– А врачаха мне и говорит, – продолжает Санька, – «Дышите!» – я дышу.

– Не дышите!

Я не дышу. Наконец не выдержал, говорю ей:

– А вы слышите?

– А что?

– Да вы же в уши не вставили! Что же вы можете слышать? Вот какая врачаха попалась.

Ноябрь. Река встала. Вечер. Лес потемнел. Мы ловим с Санькой налимов. Они не клюют, а сразу придавливают блесну, как кирпич. Вытащенные из лунки, извиваются на морозе, звеня прилипшим снегом. И черной рыбиной звенит звездами ночь.

Назавтра мы сидим за налимьим пирогом. Хрустит на зубах пресная корочка, от картош-

ки и рыбы густой вкусный пар, сияют кусочки максы.

– А ты с горчичкой, с горчичкой! – советует Санька. – М-м-м... Объедение!

Сегодня, оглядываясь на прожитую жизнь, я понимаю: а ведь, кроме Саньки, у меня, пожалуй, и не было друга! С какой легкостью предавали меня те, кто клялся в дружбе до гроба! Предавали и победоносно шли по жизни дальше. О них я никогда не напишу, ибо нет ничего страшнее забвения!

СЕРЕБРЯНАЯ РОССЫПЬ

Едем на рыбалку, на ельца, а на душе неуютно. Лед на Байкале потемнел, в колеях лужицы, рыхлый снег шипит под колесами. Говорят, уже две машины провалились. Невольно ощупываешь дверцу старенького «жигуленка». Если не дай Бог...дверцу настезь и мешком на лед. Так и видишь себя, шустро отползающего от машины, глаза дикие, руки от острого льда в крови.

– Не в духе старик, потемнел! Да не бойся ты, лед еще крепок! Вода на льду, а вот как пройдет – тогда всё, шабаш!

Я так и слышу позванивание рассыпавшегося на ледяные иглы льда. Темная вода колыхает игольчатую массу, внизу – бездна.

Но что это я! Солнце сияет. Бормаш купили. Удочки наготове. Вперед за Черный мыс! Он,

действительно, издали всегда кажется черным.

Лунки пробурены, Иваныч даже забормашил вчера. Разбили сапогом тонкий ледок, торопливо рассаживаемся на раскладные стульчики, разматываем мотыльки, сыплем по горсточке живого бормаша и – с Богом! Ловись, рыбка, маленькая, но лучше большая! Хотя елец длиннее двадцати сантиметров не вырастает, а ловится обычно не более десяти.

Не клюет. Смотрю вокруг. Справа – победно взметнулась в синь громада Святого Носа; слева – невысокая, поросшая редкими соснами, крутая гора Черного мыса; впереди – тянется сиреневым хоботком к черным точкам на льду: машины, будки, рыбаки – Билютинский мыс; за спиной – отвесно обрывается мыс Холодянки. И тут краем глаза вижу – леску острожно повело к стенке лунки, подсекаю – есть!

Елец клюет еле заметно. Тащишь – кажется, сошел – нет! Бьется на льду, темнея черным глазом, бронзово-золотистая рыбка. Похожа на сорогу, но у сороги чешуя серебристая и более крупная, да и сама сорога пошире и не прогонистая, как ельчик.

– С почином! Сейчас пойдет!

Мотылек дергает. О! Тяжело. Неужели хариус? Нет, сразу два ельца.

– Ну, что я говорил! Дуплет.

И пошло, пошло. Ух!

Ноги затекли. Встал. В лужице хлюпают ртами ельцы. Вон один проел на солнце под собой лунку, лежит, словно в ванне, «загорает». Янтарно светятся ребристыми плитами торосы, уже проеденные лучами. Пни – рассыплутся.

Кругами летают вороны, ждут, не перепадет ли что, когда уедут рыбаки.

– Размял ноги?

– Размял.

Сажусь, накидываю капюшон. Ветер. Он гуляет весь день: сначала дул со стороны Билютинского, затем набежал с горы, потом задыхался холодом от Святого.

– Кружит ветер. К непогоде.

Поднимаю мотылек, медленно-медленно, выше-выше. Есть! Ключуло на подъеме. Хорошо ловят мормышки с кусочками красного и зеленого силикона, мохнато-черные с багряной бусинкой. Если угадаешь на клев, за день можно натаскать сотни три-четыре.

Елец, уже частью икряной, нежен на вкус в жареном и маринованном виде. Его хорошо подвялить и под пиво можно съесть немерено.

Но все-таки главное – не это! Главное – тяжесть на леске, сияние живой серебристой россыпи, пахнущей свежими огурчиками, зеленоватая бездна лунки с прилипшим по краям рыжим бормашом, и ничем незаменимая свобода в душе и ликование в сердце, которое и есть счастье!

ОНДАТРА

Знакомство с ондатрой состоялось в детстве. У нас был Дружок, серо-лохматая промысловая собака. Дружок томился без охоты. Отец, учитель, в лес с ним не ходил.

Страсть к охоте сначала толкнула Дружка на противоправные действия – он передавил всех кошек. Передавил не только на нашей, но и на соседних улицах. Загонит на столб, как белку, и сторожит, изредка взлаивая. Кошка сидит, сидит и... бац на землю. Промысловик тут как тут, сдавит горло передними лапами, задушит и несет «пушного зверька» хозяину.

После неоднократных педагогических внушений, зачастую сопровождавшихся непедagogическими приемами, Дружок понял, что кошка, хотя и похожа на зверька, хозяином почему-то не обдирается, напротив, желательно скрытно, выбрасывается на свалку, по сему дохода, кроме причитаний старушек, не приносит.

Ух, уж эти причитания! Хуже ора кедровок!

– Ты бы, Алька, удавил этого супостата! Какая Мурочка ласковая была! И не пакостливая, и мышей ловила! У-у, ирод!

И Дружок мотал головой.

Тогда-то он и начал таскать в ограду похожих на крыс буро-рыжеватых зверьков. Я сразу понял: это не крыса! Мордочка несколько тупорылая и хвост не крысиный, а словно приплюснен с боков и покрыт чешуйками, да

и запах от зверька благородный – пахнет болотом, травами, простором.

Позже я узнал, что родина ондатры – Северная Америка. В Бурятию её завезли в 1935 году, и она быстро расселилась по всей территории республики.

Отец обдирал ондатру. Я с зарождающейся страстью охотника смотрел, как отделяется от тушки с желтовато-крепким жиром рыжеватая шубка. Рядом сидел, стуча хвостом, Дружок. «Ну что? Каков красавец!» – говорил его полный охотничьей страсти взгляд.

– Ты сегодня большущего притащил! Молодец! – и я обнимал Дружка за лохматую шею, пахнущую болотной тиной.

За весну и осень Дружок натаскивал ондатров на несколько шапок. Особенно ценились весенние шкурки, крепкие, крупные, выхоженные за зиму.

Вскоре и я стал бегать с Дружком на эту охоту. Весной мы искали вырытые в высоком берегу норы. К ним по залитым водой ходам ондатра выходила подышать и поесть. Осенью, переправившись на плоту, сидели у похожих на пирамиды хаток.

Звенят комары. Сухо шумит саблевидными стеблями рогоз. Его коричневые бутончики словно мороженое на палочках, облитое шоколадной глазурью. Большая синяя стрекоза зависла в воздухе, вращает лупообразными глазищами, высматривая мошек.

Вдруг в траве шум, бульканье. Ондатра! Дружок как стрела. Раз! Есть! На мокрой морде довольство удачи.

Вспоминается байка про ондатру. Обычно отец рассказывал её в ходе шумного застолья.

«Это было в годы войны. Едут два мужичка на полуторке. Грузы возили. Вечер. Попросились к старику переночевать.

– Пусти, дед!

– Ночуйте!

Достали спиртика. Они спирт возили. А чем закусить? Время голодное.

– Тащи, старуха!

И та ставит на стол латку. Открыли. Запах мясной – у мужиков слюнки потекли. Выпили, поели от души, легли спать.

Утром тот, кто постарше, вышел в ограду, смотрит – дед ондатров обдирает. Покурили – поговорили.

– А скажи, дед, я вчера забыл спросить, что это за мясо мы ели? Зайчатина?

– Да нет, вот это... – и показывает на тушки.

– А дай-ка мне, отец, одного!

– Да бери!

Попили чай, дальше поехали. Пожилой и спрашивает молодого:

– А знаешь, что мы вчера ели?

– Да зайчатину будто...

– Вот! Смотри! – и вытащи из-под сидения за хвост «крысу».

Молодого два часа выворачивало, позеленел. Брезгливым оказался».

С отцом мы ездили весной по реке – стреляли ондатру из «тозовки». Ондатра выбегала на прибрежный лед, забиралась на льдины.

Гудит малосильная «Стрела». От лодки расходятся мягкие волны. Вот они добегают до берега, и долго хрупко позванивает лед.

– Вон, вон сидит!

На льду темнеет рыжевато-пушистый «шарик». Дружок, увидев еще раньше, взвизгивает и стучит хвостом по подтовару. Отец сбрасывает газ – мотор попукивает синеватым дымком – целится. Сухо щелкает выстрел. «Шарик» подпрыгивает, булькает в воду, ныряет, но вскоре всплывает темной тряпкой, вокруг мутно расплывается кровь. Дружок радостно поскуливает и готов прыгнуть в воду – передние лапы уже на борту.

– Сидеть! И так возьмем!

Осенью мы ставили капканы. Легче ставить на топляках, похожих на огромных всплывших налимов. Прибьешь цепочку, сделанную из проволоки, поставишь капкан. Ондатра, попав, сразу бултых в воду, а выплыть не может – капкан, как грузило, тащит на дно.

Ставили и в хатки. Разроешь сбоку «пирамиду» – растительные остатки скреплены илом и грязью – внутри сухая площадка, к ней идут ходы. В хатке тепло. Здесь зверек отдыхает. «Столовая» и «туалет» у него в других ме-

стах. Обычно это или кочки, или те же топляки. Где масляные «колбаски» – «туалет», где остатки белых корешков – «столовая». В этих местах и ставят капканы.

Раз, охваченный охотничьей страстью, схватил я цепочку – в капкане живая ондатра – закинул в лодку, а ондатра цап длинными резцами меня за запястье. На всю жизнь остался на руки чуть белеющий шрам. Помню, я даже не почувствовал боли, хотя капала на подтовар яркая кричащая кровь.

Но охотничья страсть, я уверен, намного древнее любовной! В доисторические времена человеческий детеныш сам рано начинал искать пропитание: скрадывал и ловил. Я так и вижу, как, убив очередную зверюшку, он ликующе орет в небо еще бессловесный гимн жизни. Глаза его сияют, жилистое тело напряжено, и по руке, сжимающей добычу, бежит теплая кровь. И попади я вдруг в те времена, я бы так же орал, только уже словами!

УТИНАЯ ОХОТА

За жизнь я накопил в памяти немало удачных и неудачных, смешных и не очень выстрелов.

Охотиться я начал с восьмого класса. Отец давал мне двустволку 12-го калибра и патронташ с толстенькими, как поросятки, патрона-

ми. «Поросятки» были разных цветов: красные, зеленые, фиолетовые, черные.

Светаёт. Холодно. Из рта пар. Мы везем с отцом на тележке с чугунными колесами раскладную лодку «нырок».

Какое точное название! Зачерпни ненароком воду, и лодка мгновенно нырнет на дно. Вот только в отличие от утки-нырка никогда не вынырнет. Сколько утонуло на ней рыбаков и охотников!

Гремят чугунные колеса, руки мерзнут, но лицо пылает от охотничьего азарта. Вот и болотце. Глаза впиваются в травы, в зеркальца воды, ищут на глади темные пупырышки. А вон они! Поплыли... Сейчас!

Раскладываем лодку, вставив две распорки, крепим борта скобами. Встаю на колени, подложив старую куртку и сев на ведро. Гребу, почти не дыша.

Тяжело сияют росные травы. По ним плывет моя подростковая тень. А-а-х...Стайка! Запыхиваю вскинуть ружье, но стреляю. Промазал! Утки над головой, они почти пролетели. Но я, не видя, стреляю по инерции. Опускаю ружье.

– Эх! А мог бы трех завалить!

И вдруг в метре от лодки рушится грузным комом кряква. Брызги летят мне в лицо. Хватаю утку. Она теплая. С алых лапок стекает серебряная вода.

—————

Полдень бабьего лета. Жарко, но жара не знойная, а...прохладная. На траве, лодке, ружье липкая паутина. Богородициной пряжей называет её бабушка Пана.

Я воображаю Пресвятую Богородицу. Сидит высоко-высоко, в этой лиловой бездне, тихая, на девичьем лице лучатся голубые глаза. Сидит и, как бабушка, прядет, а серебряная пряжа опускается на лес, болото, меня.

Уток нет. Попрятались в травы. Я, будто в кровати, ложусь животом на днище лодки и начинаю дремать. На ствол у самой мушки цепко присела бирюзовая стрекоза. Сидит, вращая лупообразными глазищами, высматривает мошкару. Взлетела. Есть! Поймала. Села вновь на то же место и задвигала, задвигала огромными для её круглой головки челюстями.

– Сейчас как нажму курок!

Вдруг шум, словно кто-то с размаху бросил на воду большой стеклянный шар. Осторожно приподнимаюсь – у края травяного островка кряква. Настороженно замерла. Тихо. Нечего опасаться. Нагло крякнула и начала кормиться, погружая в водоросли голову.

Прицеливаюсь. Гулко стучит сердце, дрожит мушка. Наконец, задержав дыхание, стреляю. Дробь свинцовой плеткой стеганула по утке, по островку. Кряква дугообразно буровит в смертной агонии воду.

Гребу. Лодка стонет, скрипит уключинами. Что это? За уткой, в травяном островке, темнеют еще две.

«Это, значит, она не одна сидела. То-то шум такой был! Дробь и накрыла их, сидящих на одной линии».

Тяжелые! Жирные, верно. Осень, откормились перед отлетом. На зеленом дне лодки раздавленными ягодами рябины темнеет утинная кровь.

Я (уже не подросток, а центнеровый мужик) только что выбил из налетевшей стайки чирка. Чирок шлепнулся в траву. Ищу, встав в лодке в полный рост и отталкиваясь веслами.

Жестяной свист. Утки. Целых пять! Стреляю – мимо! – еще раз и, потеряв равновесие, рушусь в болотную жижу. Барахтаюсь, как бегемот. Мокрый, злой, забираюсь в лодку, снимаю резиновые сапоги, выливаю темную жижу, выжимаю шерстяные носки.

– И что я полез за этим чирком!

Словно в насмешку из травы несется хриплое криканье.

Ружье давит ногу, стволом упирается в лежащий на подтоваре рюкзак. Пасмурно. Раннее утро. Пустынно и дико. Гребу вдоль травы тихо-тихо. С весла оглушительно падают капли. Вдруг за спиной, как взрыв, взлетает криква. Хватаю ружье, но стрелять не с руки.

А утка рядом, так близко, что вижу сияющую бусинку глаза.

Держу «вертикалку» одной рукой, целясь, как из пистолета. Кряква уходит. Стрелять? А-а, жалко что ли патрона?! Ружье ахает. Приклад бьет в плечо, оставляя синяк на память, а утка, словно подрубленная, рушится в траву. Вот это да! Куда попал? В голову! Ну, ты, Костя, даешь!

Утки тянут редко, в поднебесье. На такой высоте только зениткой собьешь!

Сижу, курю, мажусь мазью. В сумерках трава задымилась – мошка. Жжет руки, уши, шею, лицо.

Ещё стайка. Высоко...

Сижу, курю. Луна багровым пожаром поднимается над черным лесом. Зажглась в темнеющей синеве первая звездочка. Снова стайка, уже черными комочками. Стрельну! Вылетело оранжевое пламя. И вдруг черный ком выпал из стайки. Как долго он летит вниз! – Вот это выстрел!

Но самый удачный, точнее, самый поэтичный выстрел я сделал, когда завалил крякву на фоне луны.

В тот день я сидел у небольшого островка, поросшего мохнатыми сосенками, уже желтеющими березками, ольхой и багульником. Сидел у стожка сена перед озерком, похожим на большую лужу.

Был солнечный по-сентябрьски нежаркий день, безветренный и «безутиный». Привалившись спиной к теплому стожку, я разглядывал облака. Они вставали из-за сиреневых гор огромными тугими клубами, бело и знойно сияющими в синеве. Облака бугрились, разрастались, поднимаясь всё выше и выше. Глядя на них, захватывало дух.

«Тугие, как весенний снег. Коршун на их фоне как мошка. Кружит...тоже пустой...»

Уток не было, но я надеялся: на вечерней зорьке они обязательно потянут вдоль островка, а, возможно, сядут в озерко или хотя бы подлетят на выстрел.

Вот над дальним лесом забелела круглая луна. Начала густеть синева. Прибежал ветерок, сунулся в траву, пошумел березками, поднял в озерке рябь и, не найдя никого, убежал.

Луна позеленела. Заныли комары. Закат ало-матовым и нежно-застенчивым свечением опускался за горизонт. Но уток не было, даже одиночных, даже далеко-далеко.

«Ну что ж, охота да рыбалка непредсказуемы. Не сегодня, так завтра улыбнется удача».

И всё же в то, что вернусь домой пустым, не верилось. Надежда не умирала. Подожду!

Светящейся точкой проклюнулась первая звездочка, вторая. Синева – уже не синева, а чуть подсиненная темь. Огромная луна сияет чистым золотом. Черной машиной грозно на-

плывает островок. Даже стог, уютно греющий днем спину, помрачнел.

«Но всё! Пора!» – и я почти на ощупь пошел в сторону дороги.

Вдруг, наваливаясь мне на спину, раздался тяжелый свист. Я обернулся, вскинул (больше по привычке) ружье. Звездная чернота и свист. Ружье вслепую сопровождает его. И на мгновение на фоне золотого круга черный силуэт кряквы. Изумленно ахает «вертикалка». Сноп оранжевого пламени на миг слепит. Тишина и – тяжелый удар. Слышу, как с шумом летят брызги. Задыхаясь, бегу по воде, наклоняюсь и вижу на лунной дорожке темный бугор утки. Поднимаю. Какая тяжелая!

Вспоминается еще один ночной, менее поэтичный, но не менее удачный выстрел. Я сидел в камышах, раскидав перед собой чучела. Было пасмурно, душно, как всегда бывает перед дождем. Трава к вечеру серо задымилась – это поднималась, принимаясь за свою кровавую работу, мошка. Но я обильно намазал мазью руки, шею, лицо и был спокоен.

За зорьку к чучелам подлетела стайка чирков. Я удачно выбил трех, и они пушистыми бугорками чернели среди чучел.

Наступила ночь. Я уже хотел собрать чучела, как, хрипло крякая, с шумом села невидимая кряква. До слез напрягал я глаза, но, кроме черных пятен на тусклой покрытой мраком

воде, ничего не видел. Где чучела? Где чирки? Где утка?

Наконец, больше по интуиции, не видя мушки, выстрелил.

«Сейчас кряква с шумом поднимется». Но – тишина. Подплыл. Чучела...чирки... А вот и кряква!

Надо честно признаться: я неважный стрелок по сидячим. Даже в ясный день, когда утки сидят на открытой воде, мажу. А тут...

Однажды на такой же вечерней зорьке, тщательно замаскировавшись в камышах, я раскидал у травяного мыска чучела и стал ждать.

В камышах кто-то сочно хрустел кореньями, шумно возился. Ондатра, наверное. Медленно вспархивали серенькие птички. В длинных листьях толстобрюхий куркуль-паучок латал порванную мною сеть и, наверняка, материл меня на всё болото на своем паучьем языке.

Потемнела синева. И река, и травы, и чучела начали погружаться в сизый мрак. Вдруг за мыском раздался стук весел и приглушенные голоса.

«Охотники. Сейчас за компанию покурим, поговорим, уток всё равно нет».

Но за мыском всё стихло, а затем разом по чучелам хлестнули, перевортывая их, четыре свинцовые плети. От неожиданности я пал на дно лодки.

– Скорее! Вон те две уходят! – придушенно крикнули из-за мыска.

– Да греби ты, мать твою!

Две «уплывающие утки» были как раз на линии выстрела, где сидел я. Давно я не вопил так, как тогда. Лодка с меткими стрелками стремительно уходила восвояси.

– Опять подранок! Мазила!

Судорожно перезаряжаю, успев вставить лишь один патрон. Не успею...уйдет...ушел. Чирок врзается в траву, и она закрывает за ним незримые створки ворот. Стреляю в траву больше по инерции.

– Дурак! Остолоп! Зачем? Только патрон зря сжег!

Но створки раздвигаются, вываливается на воду чирок, подрагивая в предсмертной конвульсии лапками.

Был у меня вслепую и еще один выстрел. Кряква упала в залитую водой невысокую траву и стремительно начала уходить. Только брызги летели. По брызгам, сделав небольшое опережение, я и выстрелил. Брызги прекратились. Подплыл – утка коричневым бугорком темнела в траве.

Тихий солнечный день. Тепло, но не жарко. Сентябрь. Лодку расслабленно несет по течению. Я лишь подправляю веслом, чтобы она плыла прямо. Вместе со мной плывет

паутина, отчего воздух весь в серебристых блестках. Паутина налипает на весла, ружье, лодку, нос. Он начинает зверски зудеться. Парят коршуны, белесым сучком торчит в траве цапля.

Тело мое, придавленное многодневными охотами, как ноющая свинцовая плита, хотя у плит ничего не болит.

Заливчик. Низкая трава по краям, залитая поднятой дождями водой. На глади, словно зеленые блюдечки, листья и белая лилия. Плавунец, отталкиваясь лапками, рывками уходит на глубину. Пролетела бирюзовая стрекоза, схватив на лету какую-то мошкару: «Охотничек! Учись, как надо!»

Вздрыгнул – поднимая брызги, из травы с криком выплыла кряква. «Сейчас взлетит...и я её!» Но кряква, как-то странно разбрызгивая воду, мчалась к высокой траве. Выстрел. Перевернулась. Подрагивает в смертной истоме красная лапка. Беру.

– Что за черт! Одно крыло!

На месте другого – заросшая култышка. Какой же жирной оказалась кряква, когда я опалил и разрезал её! Даже сердце заплыло желтоватым жиром.

Видимо, в мае, на весенней охоте, у нее отстрелили крыло, и она всё лето, как домашняя, не летала. Жировала в траве, превратившись в плавающего поросенка.

Но чаще выстрелы по подранкам были не «жирные», а, напротив, «тощие» и даже «вши-вые». Расскажу лишь два.

Начало октября. Дали распахнуты. Святой Нос, кажется, приплыл к реке и болотам, нависает над ними сиреневой с прожилками распадков громадой.

Пожухла трава. Она лежит огромным рыжим покрывалом. Березняк и осинник – одна лимонно-багряная стена. Вода посинела, стала прозрачней стекол, вымытых рачительной хозяйкой. Плывешь и, как в аквариуме, разглядываешь на дне зеленовато-бурые водоросли и мальков, снующих в их зарослях.

Уток почти нет. Позже, когда засияют разбросанными зеркалами забереги и полетят в хмурый день первые снежные мухи, появится северная серая утка, жирная и нежная на вкус, и нырковая, квадратная, мясистая, но жесткая.

И надо бы недельку посидеть дома, но охота – вторая неволя, страсть, взявшая в полон с детства и до сих пор не отпускающая. Хотя и говорил мне, подшучивая, друг: «Охота – это когда тебе и ей охота. Вот это охота!»

И вот удача! Большая кряква кормится у мыска. Крадусь. Вёсла, словно продолжение рук, осторожно погружаются в хрустальную гладь – нежный гребок – приподнимаю – неслышно стекает вода – опускаю – гребок... Лодка скользит неслышно, словно, как и я, затаив дыхание.

Пора! Мушка, чуть подрожав, берет поверх утки – вода скрадывает расстояние. Выстрел. Дробь свинцовой пятерней накрывает крякву, но она, вывернувшись, плывет в траву. Уйдет! Стреляю вновь. Моя, голубушка!

Подплываю, беру, предвкушая ощутить тяжесть нагулявшей жир кряквы. Но что это? Трупная вонь ударяет в нос. У кряквы в боку рваная загноившаяся дыра. Кряква высохла от болезни, превратившись в гнилое полено. Выбрасываю в траву – съедят вороны.

«А два патрона тю-тю...» – злорадно шепчет внутренний голосок собственника, живущего в каждом из нас.

Из налетевшей стайки выбил дуплетом шилохвость. Она долго поднимала фонтаны брызг, пыталась уйти. Пришлось ударить веслом. Затихла. Закинул шилохвость в лодку. Закурил.

«Мало уток. С каждым годом всё меньше и меньше. И охотников-то нет...Экология что ли паршивая? Раньше... А это что за черт?»

Утка словно шевелится – по перьям волнами ползут черные вши, расползаются от холодеющего тела по лодке. Лодка брезгливо закачалась. Да нет, это я качнул.

«В траву вшивую, в траву! А-а, дьявол, по руке поползла! И не стряхнешь сразу, цепкая. А с этими что?»

Давлю подвернувшейся палкой, сбрасываю в воду. Вша быстро плывет, заходит на травинку и ждет очередную жертву.

«Надо от греха подальше, а то заползут...» – и мне чудится, что пробежало по шее. Хлопаю из всей силы, аж звон в голове.

Лодка с шумом вылетает на речной простор, течение разворачивает её, и мне кажется, лодка опасливо оглядывается на вшивое место.

Плыдем. У края травы мечется чирок. Видимо, кормится. Крадемся. Ближе, ближе... Заскучавшая «вертикалка» радостно ахает. Чирок тычется в воду – и кругами, кругами.

«Не ушел бы!»

Вновь ахает «вертикалка». Всё! Готов! Поднимаю.

– Да он же привязанный!

Кто-то поставил на ондатра капкан, а чирок и попал.

Середина октября. За ночь лед сковывает Шанталык, оставляя из жалости лишь полую струю. Проверяю сети, порушив предварительно веслом еще тонкий ледяной панцирь. Попали две почти двухкилограммовые щуки и пять налимов, пузатых, извивающихся, как питоны.

Гольцы побелели. Даль прозрачна, пуста, молчалива. Пуста и река. Клюкву выбрали. Охотники подались в лес – белка, заяц, косач, рябчик.

А вот и снег. Сначала, словно разведчики-парашютисты, спустились на рыжие травы редкие снежинки, а затем снег повалил хло-

пиями. Даль сразу сжалась, исчезла. Зарылся в снежное одеяло с головой лес. Видишь только лодку да близлежащий изгиб реки.

И вдруг, словно дробь, посыпалась с небес нырковая утка. Стайка за стайкой. Нагреваются от выстрелов стволы ружья, звенят на подтоваре пустые гильзы. Их не успеваешь класть в рюкзак.

Вот одна утка, упав на лед, смешно переваливается, скользит, торопится скрыться в траве. Выстрел. Утку подкидывает. А на льду начинается краснеть полынья.

Другая успевает нырнуть. Сейчас всплывет! Выстрел. Нырнула. И начинается погоня.

«И куда подевалась? А это что за сучок торчит у кромки льда? Клюв!»

После выстрела нырок всплывает запрелым от дождей листом.

На западе догорает закат. Кажется, там, за краем горизонта, дотлевают, покрываясь пепельным налетом, огромные угли. Луна уже забрызгала голубоватым светом травы, ослепила ближайшие звезды. Они зажмурились.

Затаскиваю лодку, закрываю гараж. Рюкзак на плечи, весла в руку, и застучали по твердой дороге, постанывая от удовольствия, затекшие за день ноги.

Ветер дохнул в лицо болотной горечью, прелой листвой, корьем с пилорамы. Призывно замигали огни поселка. Домой, домой!

А память подбрасывает картины прошедшей охоты.

«Эх, не надо бы торопиться! Отпусти я немного и легко бы завалил крякву. А так дробь прошла кучно, мимо. Но ничего, завтра я...завтра...»

Оглядываюсь. Черный лес. Болото, залитое луной. Призывный писк куличков.

НА ОЗЕРЕ

Лесная дорога заросла травой, осталась лишь глубокая, словно отполированная, колея в темно-жирной земле.

«Значит, ездят на озеро...хотя и редко», – думал Санька, вдыхая душно-теплый запах зелени.

Как всегда, зайдя в лес, он внутренне подбирался. В нем словно просыпался сторож, тело становилось пружинисто-мускулистым и жило само по себе. Глаза, схватывая между сосен, березок, зарослей ольхи и багульника пушающую черновину, напряженно всматривались и сразу успокаивали тело: горелый пень. Увидев кустик голубицы с крупными бархатно-голубыми ягодами, давали руке команду: «Бери!» – и рука ловко обирала кустик, губы одобрительно причмокивали: «Вкусно!»

Сапог скользнул на зарослях бадана, и Санька чуть не завалился вместе с рюкзаком,

спиннингом, сачком и мешком, в котором была свернута резиновая лодка. Удержался! Но котелок, сковородка, кружка, миска еще долго недовольно позванивали в рюкзаке, ругая Саньку.

Но вот дорога выскочила из леса – озеро распахнуто вспыхнуло литым простором сияющей воды, светло-травянистыми берегами, противоположной стороной, на которой кудрявился влажно-мохнатый издали тальник.

Скинув рюкзак и сложив поклажу на сухой бугорок, Санька сел на сухую лесину, вздохнул и засмеялся. Воля! Два дня свободы и рыбалки.

Крачка вдруг замерла в воздухе и наконецником копыя хищно вонзилась в гладь. Блеснул в клюве живой комочек серебра, и нет его.

– А рыбка есть! – сказал Санька иван-чаю, тот лишь кивнул малиновой головой: что отвечать – и так понятно.

На озере Санька был второй раз, первый – с отцом весной, когда ставили в протоке сети. В апреле протоку проедало яркое солнце и талая вода, и щука шла в нее на нерест. Санька помнит больших щук, сидевших в сетях зелеными поленьями, помнит, как мать, намоллов фарш, делала из щук колобки, сочные и необыкновенно вкусные. Санька любил есть их холодными на завтрак: нарезал кружочками, перчил, чуть мазал горчичкой и с крепким сладким чаем да с калачом – объедение!

Проплыл в синеве коршун, повертел головой, оглядел Саньку – несъедобен – и скрылся за верхушками сосен.

– Пора! – накачал лодку, любовно похлопал по тугим бокам, сложил в нее пожитки, и она огромной зеленой лягушкой на привязи заскользила за Санькой к воде.

Вдоль берега тянулись зеленые водоросли – щучьи заросли. В воде они бутылочного цвета, а сапанные блесной – ярко-зелены на солнце.

Санька заякорил лодку – для этого он подобрал дорогой продолговатый камень. Поставил большую «колебалку», белую с красным хвостиком и – с Богом! Ловись, и маленькая и большая!

Уже на шестом – седьмом забросе дернуло, леска с шипением врезалась в воду, спиннинг – дугой, и вдруг в трех метрах из воды вылетело, трепеща жидким серебром, тугое тело – щука! – рухнула, подняв столб сияющих брызг. Одна капля попала на нос, нос зазуделся, но не до него!

Крутит Санька катушку, туго, тяжело, а вот и она – изумрудной тенью метнулась в глубину – Санька крутит – всплыла. Аккуратно подвел под щуку сачок, и уже безопасно – не уйдешь! – затрепетало в сачке тугое тело.

– Килограмма на три, голубушка! – вытер со лба пот и начал выдирать из пасти якорь.

До заката Санька поймал еще пять, но поменьше, и шесть окуней. Окунь брали на кру-

тящиеся блесны, хулиганисто выскакивая за блесной почти из воды. На воздухе они чуть сгибали спиннинг, трепеща на солнце зелено-вато-алыми живыми цветами.

– Пора и ночлег искать!

На противоположной стороне берег местами возвышался над озером. Кое-где где росли сосны и кедры. Санька нашел сухой пятачок, натаскал сосновых и кедровых веток, бросив на них брезент.

– Вот и кровать готова! – он, как пришел на озеро, говорил вслух, обращаясь то к лодке, то к щукам, то к сосне.

Развел костер. Пламя радостно затрещало сухими ветками, дохнуло жаром – комары с визгом разлетелись.

На стволе упавшей в озеро сосны Санька почистил самую большую щуку, нарезал на куски, остальных и окуней распластал, присолил, сложив в брезентовый мешок.

Нагрел сковородку, обвалял куски в муке и в раскаленное масло – зашипело, запахло так вкусно, что судорожно, по-собачьи, начал сглатывать слюю. Вскоре закипела вода в котелке. Заварил чай, бросив листья смородины.

Солнце опускается за гору, из-за горы, словно из печки, светится красно-зеленовато, и свет, попав в озеро, медленно тонет и гаснет. Налетел на запах жареной щуки ветерок, повожился в ветках кедра и, не услышав приглашения, умчался дальше.

Санька съел всю сковородку, подчистил её кусочком хлеба, напился пахучего с сухарями и конфетами чая.

Положил в костер две сухие лесины – всю ночь будут гореть, жарко дыша и грея. Снял резиновые сапоги, вынул из них стельки. Шерстяные носки были мокрые, но он всегда на ночь брал вторые. Развалился на хвойной постели, подложив под голову рюкзак и накрывшись теплой курткой. Рядом положил топор и нож, так, на всякий случай. Кроме коз, к озеру никто не выйдет – вокруг болотистая местность, лес далеко.

В мохнатых ветках уже плавилась жидким золотом луна, и горела на западе, почти у самой земли, красная звезда.

Санька свернулся калачиком, чувствуя, как по телу разливается тепло, как уставшие за день мышцы расправляются, постанывая от наслаждения.

Огонь костра. Золото луны. А дальше мохнатая чернота. Пискнула птичка. Заныл комар. И Санька провалился в мягкое забытие.

Огромная блесна, разбрызгивая жаркие искры, с шипением падает в воду, Санька крутит и крутит катушку. Зацепило! Тащит. Зеленая лодка выныривает из воды. «Да я же проколю её блесной!» Но лодка тащит Саньку с берега. Сейчас стащит в воду. Санька дрыгает во сне ногой и просыпается.

Глубокая ночь. Звезды. Целые россыпи, словно Тот, Кто там, наверху, разложил раз-

ноцветные блесны и решил порыбачить, пока его никто не видит.

Санька подкинул между полустгоревших лесин толстых веток, лег и задремал, то проваливаясь в сон, то одним глазом смотря на красный огонь, на темные пятна тальников.

Второй раз проснулся, когда уже светало. На востоке за краем земли кто-то зажег матово-синий фонарь. Фонаря не видно, а свет от него вот – видны контуры черных гор.

В пять Санька встал. Поставил котелок. Закурил и, кутаясь в куртку, – к утру похолодало – смотрел, как зарождается новый день. Тихо, чисто, свежо.

Пока пил чай, всплыл оранжевый шар, большой, сияющий и словно влажный от утренней росы.

В озере лопнула вода – это ударила хвостом щука.

– Пора! Пора блеснить! – собрал вещи, залил костер и, разбудив лодку, поплыл вдоль сияющей мохнатой стены, по которой от волн солнечным отражением бежали и бежали мягкие блики и плыла тень от Санькиной головы.

НА РЯБЧИКОВ

– Да...

Высь как черный муравейник. Только не мураши – звезды, белые, большие. Так много, что кажется, поскрипывают друг о друга.

Иней. Доски грядок матово светятся в темноте серебряными стрелами. Пахнет холодной сыростью и горечью рябиновых листьев. Ограда засыпана ими, словно окалиной.

Санька поежился и в дом. А хотел ведь выйти пораньше, чтобы затемно быть в лесу: «Может, зайца вспугну! Он белеть начал. В поредевшем лесу далеко видно».

Но заленился и не то что забоялся – не маленький! – просто неуютно ночью в лесу, поэтому вышел, когда в синеве забелела кружкой луна.

Шлось легко. В рюкзаке лишь ружье, патроны, топор. Сапоги гулко стучат по пустынной дороге. Вот и лес.

Собрал «Север», удобный, легкий, даже не задевает при ходьбе веток. Закинул ружье за плечо и пошел по тропинке.

Охоту на рябчиков Санька полюбил с детства, к ней его приохотил дед Тимофей. Ходить по зарастающим просекам, опушкам, по берегам речек, где вода намывает россыпи мелких камешек, которые так любят клевать рябчики, – одно удовольствие. Просторно, удобно. Ни чащобника, ни гнуса.

Осень. Каких только нет цветов! И оранжево-огненный, и малиновый, и лимонный, багряный, пурпуровый, и рыжевато-рдяный, и лиловый... Лес словно огромная глыба янтаря, промытая прохладной лазурью. Так бы и отколол кусочек на память!

А пахнет! Холодной горечью прели, грибами, похожими на закатившиеся под кусты коричневые мячики, слабым запахом пижмы и багульника.

По сухому листу даже слышно, как ползет муравей. И вдруг кто-то как затопчет, как зашумит – вздрогнешь! Дрожь по телу, в первое мгновение мысль мелькнет: «Медведь!» – и к деду прижмешься.

А это рябчик, краснобровый, серенький. Свинцово хлестнет по лесной курочке «тозовка», выбьет веер перьев, и они невесомо заскользят в воздухе пестрой флотилией. Подбежишь, схватишь. Еще теплый. Весь рябчик – сочетание черных, бурых, рыжих, серых и белых пятнышек и полос, пестренький, рябой. Рябчик. Еще раз взвесишь на руке – тяжелый! – и деду в рюкзак.

Дед Тимофей и жердки ставил. Еще издали видно, как краснеет на жердинке гроздь рябины и висит вниз головой серенький ком.

«Обязательно поставлю сегодня ловушки!» – решил Санька. Он говорил это и в прошлый раз, но, захваченный охотничьим азартом, всматриваясь и вслушиваясь, мчался и мчался в поисках дичи вперед не в силах остановиться. Но сегодня даже путик выбрал подальше от чужих глаз – шел по брошенной леспромхозовской дороге. Только бы рябчики были! Они домоседы известные.

Первого увидел издали – замер на сухой сосне. Сдерживая дыхание, прицелился, плавно нажал курок. «Север» щелкнул, и рябчик мягко шлепнулся в траву у муравьиной кучи.

«Хорошее ружье! Если далеко – пулей, если в ветках чуть виднеется – дробью. Какая высокая куча! Если кучи муравьиные большие, зима суровая будет, – говорил дед».

Второй рябчик, вытянув остроносенькую головку, глянул на Саньку из-за куста багульника и, срезанный дробью, забился, подпрыгивая в смертных конвульсиях и разбрызгивая перья.

Санька просто заставил себя снять рюкзак и достать топор. Срубил тоненькую сосенку, очистил от сучков и закрепил между двумя деревьями невысоко от земли. Из стальной проволоки сделал подобие петли, крепко прикрутил к жердинке и уже в ней, привязав сверху, разместил из медной проволоочки петлю. Перед петлей и за ней привязал по кисточке рябины. Вот и всё – ловушка готова.

Санька даже «увидел», как рябчик, вытянув голову, топает по жердинке к ягоде. Попал! Рванулся, захлопав крыльями, жердинка под тяжестью птицы перевернулась петлей вниз, и вскоре, подрагивая, рябчик повис.

Этим способом ловили еще в семнадцатом веке, а, может, и раньше. У каждого охотника был свой путик, который тянулся на десятки верст и передавался по наследству.

За день Санька сделал двадцать ловушек, половина «двойных». Это когда одна петля вверху, а другая – внизу. Попал рябчик, перевернул жердку, и нижняя петля стала верхней, готовой ловить.

Стайка беленьких с наперсток птичек, нежно попискивая, села на березу. Хлопочут, осыпая бледно-желтые, словно язычки пламени, листья.

Белка, похожая на головешку, замерла в ветках, только блестит агатовой бусинкой испуганный глаз.

– Вот я тебе! – Санька «пистолетом» вытянул ружье. – Бух! – и белка, с шумом осыпая сухую кору, скрылась в густой вершине.

А Санька вдруг вспомнил, как однажды в детстве пошел проверять петли на зайцев. В телогрейке, в кроличьей шапке, подшитых валенках бредет он на лыжах по глубокому снегу.

Звонко стучит на морозе дятел. Поползень, шурша, цепко пробежал по стволу сосны, бугрящемуся кирпичиками коры.

А на снегу цепочки мышиных следов, редкие отпечатки беличьих лапок, следы рябчиков, похожие на наконечники стрел.

Мальчик останавливается, чутко вслушиваясь в шуршащую тишину. И вдруг из-под самых лыж «ф-рррр!». Страх незримой рукой скручивает на затылке волосы.

– Это же рябчик! – успокаивает себя мальчик, провожая глазами пепельный ком, кото-

рый уносится в чашу, но топчется на месте и, обманывая себя, утешает. – Да и не попали в дальние петли зайцы. Нечего зря идти!

– Что? Словил тогда труса? – с улыбкой сказал сегодняшний Санька тому мальчугану. Мальчуган не ответил, лишь скрыто показал Саньке кулак. – Ладно, не обижайся!

Отдираемой лучиной закричала кедровка, застучал на сухой лесине дятел, прошуршала по стволу белка. Не зимний – осенний лес жил своей сытой жизнью.

Да и сам Санька неожиданно наткнулся на полянке на кисточки брусники, темно-красные, перезревшие. Терпкий холодок приятно освежал рот. Пока не съел, с полянки не ушел. Даже немного полежал на рыжей траве, разглядывая тугие сиреневые облака. Они висели над самыми березами. Казалось, не березы, а облака струились золотистыми листьями.

«Здорово! Но как коротка осенняя пора! Глазом моргнуть не успеешь, падет снег, завалит золотые ковры, грибы, бруснику. Рябчик сразу уйдет в еловые пади. Но зато сколько следов! Лес ляжет открытой книгой. Читай, если умеешь! А уметь надо. На то и даны тебе, Санька, Богом глаза!»

ШАНТАЛЫК В ОКТЯБРЕ

Я лет семнадцать не ездил на Шанталык в октябре. Помню, как с другом Санькой мы ездили, когда на Шанталыке был уже лед и замерзли все заливы и протоки. Осталась полый лишь струя посередине речушки.

Чтобы снять сети, мы разбивали веслом ломкий лед. Под самым льдом в сети запутались две щуки. Они зло глядели на нас желтоватыми глазами, будто из-под стекла.

Вода обжигала руки жгучим холодом, и, чтобы согреться, мы толкали их под куртку к подмышкам.

Сбитая нырковая утка, тяжело переваливаясь и скользя, пыталась скрыться в траве, но лужицы в болоте замерзли.

Шанталык в октябре пуст, тих и печален. Редко-редко встретишь рыбака, ставящего на налимов сети, закидушки, переметы, или ягодников, плывущих на магзены за клюквой.

Серо-рыжеватые травы легли. В них пирамидками белеют присыпанные первым снежком хатки ондатры. Ледок нависает над травой тонкими листами стекла и, когда проплываешь, жалобно поскрипывает от набежавших от лодки волн. А когда лодка, не заметив, врежется в него, раздается остро-режущий хруст, хрупанье и недовольное шипение.

По горам набухает белая муть – там идет снег, засыпая облетающие лиственницы. Вскоре и на Шанталык начинает сыпаться снежная

крупя. Она печально шуршит в пустых травах и исчезает в темной, но прозрачной до дна воде.

На закидушку, на гольяна, попал пузатый налим, похожий на тигренка. Я ловлю гольянов корчажкой на озерке недалеко от поселка. Это безымянное озерко затерялось в лесу. Оно чуть вытянутое, узкое и больше похоже на речушку, которая ненароком забежала в лес, заблудилась, да и осталась в нем жить.

Холодно. Вода на борту лодки замерзает. Кажется, лодка покрывается тонкой ледяной броней. Я уже надел перчатки с голым пальцем для курка.

Припозднившийся гоголь взлетает тяжело, шумно, будто петарда, и тут же, сбитый, падает комом в воду, булькает, белея брюхом и беспомощно шевеля лапками.

Позднеосенняя утка жирна. Когда её потрошишь, у зада свисает желтоватый слой жира. Суп из нее – непередаваемое словами благоухание.

По краям болот раскинули тяжело-желтые крылья березняки. Среди берез черно и одиноко высятся редкие кедры. Вон на одном, на плоской его макушке, темнеет косач. Эх, далеко, не подберешься!

В лесу косач осторожен, а вот когда летит через Шанталык, становится беспечен, как подгулявший мужичок.

Раз я сбил черного петуха, налетевшего прямо на мою лодку. Он свинцово рухнул в траву, обреченно побултыхался в лужице и затих.

Дома я отвари́л его и обжа́рил кусо́чками в туше́ной с лу́ком мо́ркови. Красно́ватое снару́жи и бе́лое у ко́стей мя́со было́ со́чно, паху́че и необы́кновенно́ вку́сно!

Пора́ и до́мой... Зна́комый ста́рик-рыба́к, похо́жий на ле́шего с се́дой боро́дой, приспо́собил под ло́дочный гара́ж дре́вний вагончи́к. В вагончи́ке да́же е́сть пе́чка – мо́жно сва́рить нали́мью уху́, вски́пятить ча́йник.

Кто-то из посе́лка подброси́л к вагончи́ку вы́водок щеня́т. О́дного взял се́бе ста́рик, дру́гого – ребя́тишки, прише́дшие поло́вить на удо́чки со́рог, а два оста́лись: ко́белек, лохма́тый, кре́пенький, и сучо́нка, по-же́нски гла́дкая. Ко́белек кре́пенький отто́го, что не подпу́скал ни́кого к е́де, по́ка не нае́дался са́м.

Та́к и жи́вут под вагончи́ком у́же по́лме́сяца, в ру́ки не да́ются. Подплыва́ю к вагончи́ку – вы́скакива́ют, но бли́зко не подхо́дят, жду́т в отдале́нии: вду́рг накормя́т! Си́дят, зве́рски чешу́тся – зае́ли бло́хи.

Стои́т сде́лать к ни́м ша́г – катя́тся лохматы́ми ко́лобками́ под вагончи́к. Ко́белек да́же недово́льно подвизги́вает. Сего́дня вагончи́к их до́м, за́щита, но что бу́дет за́втра, ко́гда ре́чка заты́нется льдо́м, пере́станут подплыва́ть ло́дки, при́ходить с удо́чками до́брые ребя́тишки? На́до отда́ваться в чьи́-то ру́ки, ина́че хо́лод, го́лод, сме́рть.

Да́й-то Бо́г, что́бы э́ти ру́ки бы́ли ла́сковы́ми!

ЛЕБЯЖЬЕ ОЗЕРО

Озеро Лебяжье находится от Усть-Баргузи-на не более чем в двадцати километрах. Если ехать от поселка в Улан-Удэ, то через шесть километров, налево, вы увидите отворот и прямую, как линейка, дорогу, идущую через Шанталык и покосы. Это Лежневка.

Дорога, как и все дороги, проложенные в болотинах и лесу, в ямах, наполненных после дождей до самых краев. Лужи долго не высыхают, так как земля глинистая. Через речушки и ручьи проложены мостики, уже разбитые и сгнившие.

Ехать по такой дороге одно удовольствие. Едешь медленно, переваливаясь через ямы, как через волны, получая бесплатный массаж задницы, любясь на заросли иван-чая, пижмы, кровохлебки, медуницы. Они облеплены шмелями, бабочками, осовидными мухами.

Дорога пересекает Шанталык. Литое золотистое тело этой узкой и своенравной речушки, получившей название от якутского слова сантыы, что значит устройство для ловли рыбы (остатки загородок для морд до сих пор щетинятся кольями), окружено зарослями тальника. Над речкой до самого горизонта дымчатые, как выводки утят, плывут в синеве облака.

Вскоре дорога поворачивает налево. Она вся в круглых, как блюдца, лужах, более похожих на озерки, достаточно глубокие, чтобы

засесть на легковой машине. Это идеальные места для любителей экстрима.

По сторонам в редком лесу в урожайные годы поляны красны от созревшей брусники, издалека кажется, будто с неба кто-то разбросал как попало алые ковры. После дождей масса грибов, особенно белых. В прошлом году их собирали мешками.

Проехав два – три километра, поверните на одну из троп направо и мимо озера не промахнетесь. Лебяжье – озеро вытянутое, окружено травянистыми, местами заболоченными берегами, так что лодку до воды придется тащить.

В озере караси и гольяны. Карасей сподручнее ловить сетями, а гольянов – незаменимых живцов на переметы – корчажками. Нет корчажки – берите трехлитровую банку с крышкой, прорезав в ней небольшой квадрат. В банку хлеб, банку – в озеро, и гольяны налезут, как черви. Как и караси, они, если дома пустить их в бочку и менять воду, живут долго.

Каждый раз, бывая на озере, я не устаю удивляться: как же богата наша республика! Воистину сверх меры одарил её Господь озерами, реками и речушками, тайгой и гольцами, степями и сопками. Так и видится: дав Байкал, он посмотрел, посмотрел, да и высыпал всё остальное, решив в творческом запале сделать природную жемчужину. Что ж, у него получилось!

В СЕНТЯБРЕ

Месяц белой попкой повернулся к Байкалу. Обиделся. Тот под утро нагнал на поселок туман, тяжелый, плотный, будто влажной золой засыпав им дома.

К восходу туман исчез. С теплиц закапали тягучие капли, образуя темные лунки. Но месяц обиду не забыл, повисел, повисел, покалывая еще темноватую синь острыми рожками, и, лишь мокро засверкали стекла теплиц, растворился в бездне.

Всё начало пробуждаться. С шумом залетали вороны. Оттого, что тихо, пусто – даже солнце только ало потягивается на краешке горизонта – вороны кажутся огромными, оторвавшимися от незримых матч черными парусами.

Санька невольно остановился, прислушался. Стучат тяжелые капли. С шумом пролетают вороны. Чайка – сияющий ком первого снега – что-то гортанно прокричала и уплыла в сторону Байкала. Высоко-высоко пронеслась-просвистела парочка гагар. Соседка стукнула ставнями. Заголосил-захлопал крыльями пестух. Мягко прошел по дощатому тротуарчику рыжий кот, но следы, звездно-мохнатые и словно живые, оставил. Где-то на краю поселка не пролаял – пробухал пес.

Всё засияло, заискрилось, переливаясь малиново-синевато-зеленым цветом. Это первые лучи накрыли крыши, верхушки тополей

и берез. Ранетка, как медный самовар с угольками плодов, так и пышет.

У ствола – ковер. Осень-старушка ткёт с каждым днем всё проворнее, словно молодость вспомнила. Всё пышнее ковер, роскошнее расцветка. А может, и не старушка она, а чуть стареющая, но еще в теле и сочной красоте бабенка?

Из теплицы никак не может выбраться шмель, мохнатый, злой, гудит и гудит.

Санька открыл дверцу теплицы, ждет, когда шмель улетит.

Подошел кот, остановился, внимательно смотрит круглыми с лунами посередине глазницами то в теплицу, то на Саньку: что это он там увидел? Не птичек ли? Залетают они в теплицы, маленькие, зелененькие такие, но вкусные, вкуснее мышек и воробьев. Птичек не было.

Шмель, учуяв свежую струю воздуха, улетел, обругав напоследок злым гудением Саньку и кота. Кот мявкнул: а я причем? – и ушел в дом лакать молоко.

А Санька вошел в теплицу, где копной лежала помидорная ботва. Светло-желтые листья казались на солнце грудой лимонов. Над ними язычком оранжевого пламени порхала бабочка-огневка.

– Прошло лето. Сняли помидоры. Скоро и саму теплицу уберут – сгнила. И жизнь проходит. И что? Одна ботва суеты. А зачем?

Санька перешагнул через порожек – им служил подгнивший брус. Малиновый червяк, оставляя мокрую борозду, уползал под него. Он торопился. Воробьи всю уже орали на крышах и в тополях, спешили позавтракать. И только Санька никуда не спешил, даже на рыбалку, поэтому и червяка не взял.

– Ну, что, сосед, как в этом году картошка?

– Да десять мешков сняли. Куда нам со старухой! – ответил седой старик, которого величали Александр Александрович.

СНЕГ

Сыплются белым потоком снежинки, мечутся у самого окна, ложатся махровым полотенцем на подоконник. Ближайшие крыши белы, бела и земля, словно расстелили большие белые полотнища. А дальше муть, серая, мохнатая, шуршащая, из которой чуть выступают крыши, стены, огоньки.

Тихо. Тонешь в тишине. Часы так стучат, что хочется вынести их в другую комнату и прикрыть подушкой.

Я один. Мне некуда идти, да и не зачем. На пенсии. Сажу и смотрю. Кипят снежинки, мечутся то вверх, то в бок и, обессиленные, ложатся на землю.

Молчат краны. Их единственная рука укалывает вверх, в небо, словно говоря: снег-то, снег какой!

Вместе со мной за снегом наблюдают комнатные цветы, бело-сиреневые – не знаю, как их называют, надо спросить у старухи – с широкими, словно зонтики, листьями. Смотрят, как с неба сонно, вязко опускается белая тишина.

Интересно, никогда, в отличие от лесных, не хочется нюхать комнатные цветы!

Говорят, в такие минуты одиночества человек вспоминает прожитую жизнь. Ничего я не вспоминаю. Сижу, смотрю, слушаю, как урчит в трубах: сосед спустил в туалете воду. Думаю: скоро придет с рынка моя старуха и начнет готовить обед. Надо сказать, чтобы сварила щи.

Ветер. Крыши задымились, и выглянули из серой мути дома.

Ноябрь. И что я торчу в городе, в десятиэтажке, на шестом этаже? Уехать в поселок, к старшему сыну, днями сидеть на реке. По первому льду хорошо берет окунь, сорога. Бормаш можно купить в городе.

Возвращаться с реки уже в сумерках, когда дома таращат заспанно-желтые глазища окон. Легко катятся по закатанной за день дороге санки, даже не оттягивают веревкой руку.

Тополя голы. Не тополя, а огромные метлы. Мелькнула темным шаром собака. Сорока бесшумно села на забор.

Приду, сяду у печки, посажу на колено внука и буду рассказывать, как в детстве я чуть не замерз на такой же рыбалке. Попал

в снег и ветер. Река бело задымилась. Снежный дым скрыл контуры поселка, грозно засвистел в ушах, сдирая со щёк последнее тепло.

На ощупь, почти сгибаясь до льда, задыхаясь от ветра, который вколачивал белым кулаком воздух обратно в лёгкие, потащился домой. Джек, с залепленной снегом мордой и прижатými ушами, потащился следом – за ним, проваливаясь в рыхлый снег, поволоклась кошёвка.

Расскажу, как ветер набил в варежки снег, как мёрзли руки, как мне стало страшно.

Но выбрались на дорогу, еле различая сквозь муть желтые пятна огней. Они походили на разбитый желток. Джек, весь в белой шубе, почувствовав землю, отряхнулся, будто переоделся в свою рыжую, веселее потащил кошевку с пешней и рюкзачком, в котором мерз единственный пойманный окунь.

– Вот такой! – показываю я внуку. – Он попал на блесёнку, которую отлил дед Тимофей, твой прапрадед. Твоему папане я дал имя в честь него.

Затем мы рассматриваем с внуком сегодняшний улов: сороги, окуньки, две щучки и маленький сомик с длиннющими усами.

– Маленький, а клюнул, словно огромный сомище! Чуть мотылек не вырвал. Вот подрастешь – вместе на рыбалку ходить будем!

Звенит звонок. Я вздрагиваю. За окном чисто, бело и даль ясна.

– Сейчас! – ворчу я и, с хрустом поднимаясь, иду открывать старухе.

ЗАЧЕМ ТАК БЫСТРО?

Я всё забываю. Почти забыл. Прошное умирает, уходит в небытие.

Где Котя, маленький мальчик в коротеньких шортиках? Пристально вглядываюсь, вижу голубенькие, как васильки, глазёнки. Выцветшие на солнце волосики пахнут наивно-нежно, доверчиво.

Что он делает? Стоит в зелёной ботве, она ему по пояс, и разглядывает огромного чёрного жука, стригуна, почти с полуметровыми усищами. Вот он тянет загорелую ручонку к усу, отдергивает, боится.

– Котя! Котя! Ты где? – окликает мальчика высокая, сухая бабушка.

– Я здесь... – шепчет мальчик, боясь спугнуть стригуна.

И всё исчезает. Черно.

Вновь напрягаю память. Толстенная мордашка. Кроличья шапка. Валенки.

– Пошёл! – кричит мальчуган, прыгая в сани.
– Ну! – и рыжеватый пес, с лоснящейся от сытости шерстью, морозно пахнувший псиной, дыбится, напрягаясь тугим телом, срывает с

места сани. Мальчуган, что-то крича, несётся в белый простор. Как зудится от растаявшей снежинки нос!

Куда ты помчался? К бабушке? На рыбалку? Молчит память. Чернеет белый снег, свет. Нет никого.

Но всматриваюсь, всматриваюсь. Да это уже не зима – весна. Угловатый подросток, горбящийся от застенчивости, ждёт у ворот. Как оглушительно стучит сердце! Проклятый пёс гавкает именно от этого стука. Ну, где она?

Скрип дверей. Торопливый стук по подмёрзшей земле. Ворота распахиваются. Так, наверное, распахиваются врата рая. Широкое тело, лукаво-сияющие глаза, тёплые губы. Сердце отрывается, и тонешь, тонешь в этой сводящей с ума сладости губ, тугого тела, бессмысленного шёпота, который сам по себе – вечный небесный смысл.

А вверху, в тёмной синеве, плавится от радостных слёз золотистая луна. Светятся сосульки, неслышно позванивая голубым светом, и на апрельской дороге искрится синий лёд.

Дорога... Почему мы бежим от счастья? Или счастье бежит от нас?

Петровские усики. Выющиеся до плеч волосы. Плечи в сажень. И тело, тело, полное неудовлетворенной чувственности. Огромный котел, в котором кипят страсти, мечты, обиды.

– Эй, студент!

Аудитории. Запах книжной пыли. Экзамены. Весёлые попойки. Всё внове. Ещё нет воспоминаний, да они и не нужны. Дни, месяцы тянутся долго-долго, словно душа, сорвавшись со старта, только набирает скорость. Мелькают лица, здания, цели, интересы.

Будущее, как высоченный хребет, синее в солнечной дымке. До него далеко-далеко.

А ночью приходит женщина, вечно-юная, незримая, но оттого не менее сладостная. Человечество именует её Музой. Её приход всегда внезапен, как испуг, и всегда в дремотной истоме дрожит сердце, с изумлением наблюдая, как на чистом листе проступают стихотворные строки, ещё неумелые, робкие.

– Ничего! – шепчет женщина. – Ничего! Это рождение. Твори! Не бойся! Твое словесное тело, повзрослев, будет жить вечно. Тебя ждёт известность, слава. Люди, которых ты никогда не увидишь, будут смеяться и плакать над тем, что я тебе нашепчу!

И улыбается, смотря невидящими глазами в чёрное окно, толстый юноша.

Работа. Школа. Проверка тетрадей. Конкурсы. Зависть коллег. Как побежали, полетели дни, месяцы, годы! Как стремительно навалилось, уменьшаясь в высоте, будущее!

Свадьба. Костя несёт на сильных руках культуриста женщину, навсегда данную Богом, милую подругу, с которой было так много сча-

стья и горечи и которая стала его вторым «я», мать его троих детей.

Подборки стихов, рассказы в журналах, первая книжка.

Воспоминаний больше, они мозаичны, хаотичны, но ярче, с запахами и ощущениями.

Секция. Грохот железа. Мышцы легко, как мячики, вздымают над головой двухпудовые гири, специально покрашенные в белый цвет, чтобы казались легче. Бугрящиеся бицепсы, дельты, как эполеты. Друзья, такие же могуче квадратные и уверенные в себе.

Самовар, пирожные, разговоры о предстоящих соревнованиях. Железное братство. Где оно? Где я?

Потемневшие, как диски, словно запыленные временем лица, старчески сгорбленные фигуры, боль в пояснице, ноющие перед непогодой ноги, когда не знаешь, куда их затолкать ночью.

Охота. Страсть, похожая на любовь. Рыжие травы. Цапли, торчащие белесыми сучками. Да цапля ли это? Нет, взлетела... Жестяный свист уток в темнеющей синеве. Запах болот, пропитанный горящим солнцем, тиной, водой. Как приятно пахнет сгоревший порох! Тонкая струйка дыма невесомо выползает из ствола, высматривая утку, а та, подрагивая алыми лапками, белым листом плывет на синеющей осенней воде.

Лес. Шипенье сухой листвы. Как пряно пахнет прелью! Старый сырой боровик похож на коричневый мяч. Ноге так и хочется пнуть! Громкий топот рябчика. А вот и он, пепельно-серый, подозрительно глядящий, убегающий в сосновую чащу. Сухой выстрел. Летящая россыпь пуха, словно первый редкий снег, крупный, сонный. Стуки дятла. Жалобное теньканье синиц.

Пожухлым листом мёрзнет тело. Ушли желания, не приходят мечты. Жизнь не новогодняя ёлка, а её остов, сухой, осыпающийся, с которого давно уже убрали игрушки. И только вечно-юная Муза всё ещё приходит и с тихой печалью утешает на чистых листьях.

Сейчас, когда я пишу это, тлеет низ облаков. Ранетка под окном потемнела. Под ней ходит птичка с желтоватой грудкой, ходит печально неприкаянная, изредка что-то склевывая с опавших листьев.

Жизнь, зачем ты так быстро прошла?

КОГДА-ТО

Там, где сегодня мост через Баргузин, когда-то была ровная площадка, заваленная хлыстами. Бревна дыбились баррикадами, не пуская к реке. Но мы, подростки, шустро пролазили между завалами, бежали по толстым бревнам, перепрыгивая с одного на другое.

Вода у берега от рыжего дна казалась желтой, пахла гнилым корьем и болотной сыростью. В этом месте в Баргузин таким же, как мы, подростком вбегал Шанталык. Ему было труднее – он пробирался сквозь заболоченный травяной простор откуда-то издалека, со стороны Духового озера, продираясь сквозь заросли тальника.

Берег, словно жемчужной нитью, был опоясан пеной. Мы брали пенный «жемчуг» в загорелые до темного золота ладони и кидали друг в друга.

Наигравшись, принимались за дело. Сначала надо было наловить живцов. Разматывали закидушки, насаживали на крючки толстых малиновых червяков, и грузило – тяжелая гайка – с шумом разбивала гладь. Попадали сороги, окуни, иногда подъязки.

Сорог и окуней бросали в большое ведро, постоянно меняя воду. Они отличные живцы на налимов. А подъязков дома отваривали с лавровым листом и перцем-горошком.

Крачки носились над головой, кричали, ругали нас за пойманных сорог и окуней. Они считали, что река принадлежит им, а не хулиганистым мальчишкам. Кулики, облетев по дуге, садились рядом, покачиваясь, что-то склевывали в воде.

Вечером, вытянув вдоль берега небольшие переметы по семь – десять крючков, наживляли живцов, забредали по колено в воду и за-

кидывали. Налимы попадали у самого берега. Кроме переметов, втыкали в дно толстую почти с палец проволоку, загнутую на конце кружочком. Поводок, крючок, живец. Попавший налим плавал как на привязи.

Особенно сладостна была рыбалка ранним утром. С рюкзачками на спинах неслись мы на всех парах мимо гаражей сплавного участка, пахнущих соляркой и мазутом, мимо дышащей жаром кузницы, мимо дремлющих катеров у пристани, мимо высоченных кабелькранов – они сутками, в три смены, вязали сигары.

Наконец берег. Лихорадочно хватали шнур перемета, тянули, чувствуя замирающим сердцем всю тяжесть попавших налимов. Они не дергали, лишь незримо упирались в речной глубине. Вытащенные на берег, туго изгибались, поблескивая на еще холодном солнце темной спиной и песочным брюхом.

А как приятно тянул плечи вниз полный рюкзак, когда мы возвращались домой! Шли и уже обоняли налимий пирог с сияющей на хрустящей корочке максой и бело-пахучими кусками рыбы под слоем картошки.

Но – как всегда и во все времена – незаметно прошумела жизнь, будто кто-то отщелкал костяшки-годы и подвел итог. Лишь шумят сухими листьями воспоминания.

Там, где сегодня мост через Баргузин, когда-то была ровная площадка, заваленная хлыста-

ми. Бревна дыбились баррикадами, не пуская к реке. Но мы, подростки, шустро пролазили между завалами, бежали по толстым бревнам, перепрыгивая с одного на другое...

ЧТО ЗНАЕМ?

Уже чувствовалась осень, даже в рассветах, холодных и пустынных. Но инея не было.

«А в прошлом году был. Поле у реки полыхало утрами белым пламенем» – и Александр Александрович вспомнил, как всплывало над рыжим лесом солнце. Иней сразу начинал вспыхивать синеватыми искрами. Искры, казалось, резали воздух, и землю заливал алый свет.

Но сегодня инея не было. Холодно. Да пахнет сырой землей и прелью опавших листьев.

«Кончилось лето, кончилось. Но и осень хороша! А главное – свободен! И-эх! Свободен ты, Санька, свободен!» – и пляснул на дороге. Александр Александрович, несмотря на свои пятьдесят пять, чувствовал себя подростком и в бесконечных монологах называл себя Санькой.

Странно, но таким счастливым он не был давно. Пенсия, осень, одиночество, а он счастлив.

«Словно плутал, плутал всю жизнь по темной тайге, падал, обдирая рожу о ветки, мерз

и вдруг вышел к теплу, к людям, а люди – это я сам. Даже разговаривать ни с кем не хочется. Книжки да монологи. И ведь не одиноко!»

На столбе коршун. Косится. Взлетел.

«Коршун, коршун, попу сморщил!» – кричал в детстве Санька и бежал, подпрыгивая, за коршуном, словно пытаясь схватить за хвост, похожий на оперение стрелы. Санька и сейчас пропыхтел по дороге метров десять. Задохся, встал. А коршун, упруго отталкиваясь от невидимой воздушной стены, забирал выше, выше и скрылся.

«А что если бы мне сказали тогда, что это и есть счастье. Синяя бездна, коршун, восторг. Лучше, полнее не будет! Не поверил бы. Даже не то, что не поверил, не понял. Как?! Да всё впереди! Завтрашняя рыбалка, футбол с ребятами, жизнь... И нет ничего. А коршун вот он... улетел».

Санька остановил и, слыша, как хрустнуло в локте, достал сигареты. Закурил. Запахло вишней.

«Дорогие, а приятные. Тоже...удовольствие. Нет, прожить жизнь и в конце понять – счастье в мелочах, в здоровье. А карьера, известность, погоня за богатством – всё пустое. Дым сигаретный и то осязаемей.

Сейчас приду, заварю крепкий чай, достану черничное варенье или голубичное, можно и меду, донника, буду пить и смотреть в окно на сороку или кота. И жизнь, как глотки пахучего

бергамотом чая, пропитают до самого основания, до той границы, за которой уже начинается небытие, где ни горя, ни счастья. Хотя что мы знаем?»

ГДЕ-ТО ТАМ ЗА ОКНОМ

Дважды падал снежок, мутно-белый, шальной, и сразу таял. На закате на мокрую землю плотными коврами легло солнце. В темнеющей синеве застыли лиловые, пухло-серые облака. Почти перевернутой кружкой забелела луна.

Всё это Санька видел, не выходя на улицу. Маялся у окна, вжимаясь лбом в холодную раму. Смотрел на прохожих. Но вспоминались другие.

Сергей К., когда-то молодой, с тугим, литым телом, немногословный и сильный, сегодня спившийся «старичок» с дряблым, как картошка-матка, личиком. Время, как резинка, стирая всё в этом мире, походя размазало и его и на мгновение замерло, глядя на это пятно, чтобы вскоре стереть начисто.

Томка Е., похожая на нерпу, низенькая, плотная, будто сочащаяся салом и здоровьем, спилась. Перед смертью беспробудно пила четыре дня – сердечко не выдержало.

Под окном мокрые ветки рябин, ржавчина прошлогодних листьев. Тихо и сумрачно.

Луна чуть пожелтела, наливается золотистой силой. А в памяти проходят незримые тени...

Витька К., высокий, костлявый, заросший черной бородой, из которой безумно горели угарными угольями глаза. Он и был безумен. Работал на Севере, в ссоре жена тяжело ударила его по голове поленом. Голова начала болеть. С работы уволили, дав инвалидность. Жена бросила. Приехал в родной поселок к уже старым родителям, но подолгу жил в тайге, в шалаше, подальше от людей, с такой же, как его борода, черной собакой. И однажды, вернувшись к людям, повесился.

Прохожих уже не видно, лишь мохнато шевелятся темные пятна. Мужик? Баба? Не поймешь. Зато там, в памяти, видно отлично...

СМЕХ

Лес словно ночной, сырой и молчащий. Зеленые волны с тяжелым стоном взрывают песок и, позванивая галькой, отползают. Пахнет рыбой и холодной сыростью. На Святом солнце зажгло рыжие поляны осинника и колючую белизну гольцов.

– А что, Максимыч, может, выберем?

– Ты что! Гляди – волна-то как гуляет! Беяки...

– Так две ночи – выбросим же рыбу! Да и ставешка почти рядом у берега! – и Степан идет к лодке.

По зеленовато-сизому простору Байкала словно рассыпаны ртутные шарики. Вдали маленькие, игрушечные, ближе к берегу они вырастают и угрожающе рассыпаются.

Схватившись за борта, старики тащат лодку к воде. Лодка, любовно сделанная Максимычем для себя, легкая, удобная, но не байкальская – речная, с низкими бортами. Ждут отползающую волну. Степан, он моложе, садится на весла, а Максимыч, оттолкнув лодку, запрыгивает на корму.

Лодка взлетает, словно перышко. Отплыли. Стало тише.

– Ну что я тебе говорил! Она, волна-то, лишь у берега крутая!

Максимыч и сам видит, что зря опасался.

Берег, сияя залитым солнцем песком и холодным пламенем листвы, отступает. Вдоль воды бежит белая собачонка, поскуливает, смотрит на стариков.

«И откуда взялась? Словно провожает», – и сердце Максимыча сжимает тупая боль.

– А за две ночи должно попасть! Култук продул. Эх, продадим, Максимыч, и по девкам! Ха-ха-ха...

Белый гребешок горностаем запрыгивает в лодку.

– Ты на волну, на волну держи! Продавец...

Вот и маячок – ветвистый сухой корень.

– Ну, благословясь! – и Максимыч тянет сеть.

Из зеленой глубины серебряными слитками тянутся омули. Один, второй, третий...

– Ну что я говорил! А просиди еще ночь! А ты «беяки, беяки»...Мы с тобой, Максимыч, пожили – умирать не страшно!

На подтоваре уже тяжелый сугроб из омулей. Хлюпают ртами, ловят исчезнувшую воду.

«Сережке игрушку...ту...дорогую... «На, внучок!» А лодка осела. Омулек как на подбор!» – и Максимыч ловко закидывает сеть с рыбой на подтовар. От нее пахнет свежим снегом. Старик жадно вдыхает этот весенний запах и улыбается.

Новый гребешок запрыгивает в лодку. Обрызганная рыба быстрее начинает хлюпать тонкими ртами.

– Ты держи, держи лодку носом встречь волне!

– Трухнул? Смотри, как... – и Степан лихо табанит. Нос лодки высоко взлетает и рушится в яму.

– Держи!

Вал свинцовой плитой накрывает лодку и щепкой выбрасывает щуплого Максимыча в море.

«Старуха носки шерстяные...А Святой как вздыбился!» – и Максимыч погружает с головой. Выныривает, хватается за перевернувшуюся лодку. Несколько мгновений даже тепло

– ледяная вода не дошла до тела. Рядом кто-то визжит, тонко, по-бабьи.

«Собачка...как она приплыла? А...это Степан».

– Степан! Степан! За лодку держись!

Степан с воем лезет на лодку. Она оседает и вырывается из рук Максимыча.

– Степан! Степан! – но тот словно и не Степан – кто-то обезумевший глядит на Максимыча и не видит.

Максимыч пытается чуть навалиться на лодку, но коченеющие руки слепо скользят по алюминиевому днищу.

«А Сережке игрушку...Вода-то – лед. Сети с рыбой на дно...не выбрали же камень».

– Степан!

А тот уже полностью на днище, обхватил лодку, как толстую бабу, намертво вцепившись в борта.

Резиновые сапоги огрузнили, тащат на дно, пальцы свело, они похожи на игрушечные Сережкины грабельки.

Набегающий вал накрывает Степана, он кашляет, скулит.

«А лодку волной к берегу тащит, да и ветер попутный. Удержаться бы! А там и подмога! Рыбаки...»

Старик пытается навалиться, как Степан, на лодку, но тот вдруг, оскалившись, бьет головой Максимыча в лоб. Пальцы разжимаются, и старик уходит под воду. Всплывает. Видит, как

очередная волна набегают на лодку и гонит её со Степаном к берегу.

– Не уйдешь! – и выбрасывает вперед правую руку. Волна приподнимает Максимыча, он видит ярко пылающий золотом лес, белую собачку на берегу и тонет.

– Петр, смотри, лодка!

– И мужик на ней...

– Перевернулся что ли?

Два мужика в резиновых сапогах тяжело бегут по песку.

– Эй, дед!

Степан открывает мутные глаза. Люди. И лицо его сводит судорогой страшного смеха.

«ДА НУ ЕГО!»

По реке несло шугу – маленькие, как битое стекло, льдинки. Было серо, холодно и тихо. Только поскрипывали, ударившись, льдинки.

Травы на острове порыжели, лежали ржавыми листьями брошенной жести. Тальники оголились, их серые ветки бесприютно тянулись к солнцу, но с неба уже третий день висла сизая хмарь.

Сергей столкнул отяжелевшую от холода и сырости лодку. На лодке солью лежал иней. Лодка побелела, словно знала: скоро на покой, зима.

Сиденье жгло холодом задницу, руки мерзли и, чтобы согреться, Сергей мощно греб, валясь всем телом назад. За бортами шумела стальная вода и тонко позванивала шуга.

Сергей подхватил «маячок», начал выбирать сеть. Густо попал налим. Был самый его ход. Скоро от холода свело руки. Когда стало невмоготу, толкал под рубаху, в подмышки, грел.

Пошел последний конец. И тут за бортом забурлило. Сазан! Килограмм на двенадцать. Золотистый, толстый, как поросенок.

Сергей наклонился за борт, пытаясь опутать сазана сетью. Тот рванулся, полотно затрещало. «Уйдет!» – пытаясь схватить, наклонился сильнее, его дернуло сетью, и тяжелый холод воды накрыл тело.

В первые мгновения он ещё думал о сазане, но вода попала в нос. Сергей закашлял, и мозг отключился. Следующую минуту жило одно тело. Оно молотило ногами, руками, хрипело ртом, глаза, вцепившись в остров, который был рядом, тянули тело к нему. Сапоги (хорошо надел кирзовые, а не резиновые) слетели, уплыла подбитым чирком шапчонка. Но вот ноги коснулись дна, и, шатаясь от течения, Сергей выбрел на остров.

Лодку относил течением. Летом он бы раз двадцать сплавал до неё и обратно. «До стану! Может, и сазан не ушел!» Не отрывая от лодки глаз, стянул мокрую одежду и, го-

лый, поплыл. Но уже через пять метров понял: не доплыть!

Вода, покалывая осколками льдинок, тащи-ла вниз, на дно. Сергей развернулся и поплыл на остров. Вылез. Стучали, словно не его, зубы. Пальцы у правой ноги свело, и они белым веером торчали из ила.

На противоположном берегу играла ребятня, кидая в проплывающие льдинки камешки.

– Э-эй! Лодку! Ребята! Эй...

Заметили и побежали в стоящий на бугре дом.

– Сейчас родителям скажут. Переоденусь. Поймаю лодку, и сазан от меня не уйдет!

Но из дома никто не выходил. Прошло пять...десять...тридцать минут.

Сергей прыгал, бегал, орал. Пытался одеться, но всё застыло, как камень.

А в доме жарко гудела печь, ломился от еды и бутылок стол. Родня приехала!

– Папка, там дяденька на острове голый бе-гает!

– Голый?

– А бабы не видать?

– Хо-хо-ха-ха!

– При детях-то...

– Пусть побегает, согреется...в кустах, на травке. Садитесь за стол, носы вон от холода посинели!

– Папка, он же замерзнет!

– Да ну его!

Темнеет. В домах, до которых рукой подать, зажглись огни. Глухо лает собака. Над черным лесом кровавым пожаром загорелась луна.

Его нашли на другой день, застывшего, скрюченного, с белым, как снег, ликом.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

– Что это радио молчит? – спросит бабушка и ждет у радиоприемника, овально черного, ставшего от старости живым существом, ответа.

Сейчас радио поет о «стране, где вольно дышит человек» и ещё о чем-то. Но мне не до радио – веду бой: расставил на столе вырезанных из картонок солдатиков и веду пулеметный огонь. Пулемет – патрон 12-го калибра, пластилином прикрепленный к спичечному коробку.

Чуть наклонишь – свинцовый ручеек звонисто застучит о скатерть. Побегут – полетят дробинки, и вот то один, то другой солдат в цепи падает, насмерть сраженный пулеметной очередью.

Я заигрался, а в доме вдруг стало тихо-тихо. Это бабушка, всегда говорящая сама с собой, ушла в зимовье.

Ставни закрыты, отчего зала – одна сплошная чернота, из которой зловеще доносятся обрывки фраз. Это радио перестало петь и заговорило. А что? Не понять.

Я быстро надеваю кроличью шапку, накидываю фуфайку и, навалившись плечом на замерзшую дверь, попадаю в холодные сени. На ощупь, словно слепой, пробираюсь вдоль стенки, затем спускаюсь с крыльца, которое провожает меня мерзлым хрустом ступенек.

Вечер, но уже темно. Только далеко-далеко пылает голубым пламенем большая звезда.

Снег в темноте не белый, а темно-лиловый. В отличие от мерзлого крыльца он не хрустит, а тонко повизгивает, будто жалобно вскрикивает на морозе. Впереди разбитым желтком светится мохнатое окно зимовья.

Холодно. Фуфайку не застегнул. Вздрагиваю от холода и оттого, что скользнула в темноте нечто черное и село на забор. Сорока. И не спится ей!

Вбегаю в сени, уже зимовья. Пахнет березовым веником. Ищу дверную ручку. Да вот же она! И влетаю в зимовье.

Дед Тимофей починает в углу сети. Бабушка заводит квашню. Завтра будет стряпать калачи.

В маленьком зимовье жарко, душно, словно запахи, как муравьи, сбежались на ночь в зимовье-муравейник, не спят, трогают друг друга, в том числе и мой нос, невидимыми усиками. Особенно сильно пахнут напREVшие со свиной и капустой щи.

– Ну, что, старуха, наливай – рабочийк пришел! – говорит, улыбаясь, дед.

Я шустро сажусь за стол и, пока бабушка наливает в глубокую большую тарелку, из-готовленную еще в девятнадцатом веке, щи, всматриваюсь в окошечко, пытаюсь разглядеть голубую звезду. Но окошко заросло инеем, искрится не звезда, а подтаявший лед.

«Ладно, возьму бинокль, выйду и как следует рассмотрю!»

Щи горячи. Я дую на ложку и, шумно вздыхая, ем разварившуюся свинину.

Что-то говорит дед, но я уже не слышу.

САНЬКА И ВЗМЕТНУВШИЙСЯ ДО НЕБА

Мохнато-белые дали. В них сизыми полосами маячит падающий снег. Кажется, кто-то плотный, взметнувшийся до неба заблудился и бродит, запинаясь о кромку леса.

Санька в пушистом снегу, словно на полушубок зима еще накинула белую шубку.

– Что я, девчонка что ли? – Санька дергает плечом, хлопает себя шерстяными варежками по животу и бокам. «Шубка» нехотя сваливается, но зима забывчивой бабушкой укутывает в другую.

Сидящие на льду вороны тоже в снегу. Санька бросил им «мелочь», и вороны ждут новых сорожек, степенно похаживая в отдалении.

Темная вода в лунке покрыта толстым слоем серой «шерсти», а снег всё валит и валит. Санька сачком собирает «шерсть» и отбрасывает серый ком подальше от лунки. Открывшаяся вода облегченно вздыхает, и с ребристой стенки лунки бросается бесстрашным дайвером на дно рыжий бормаш.

Поклевок нет. Санька уже несколько раз менял блесенки: ставил и дедовские, тяжело-серые, отлитые из свинца, и магазинские, легкие и блестящие, и на голый крючок наживлял бормаша – всё впустую!

А ведь как с утра ловилось! Вон малахитовыми кусками зеленеют застывшие окуни, светясь сквозь снег потухающими угольками алых плавников.

Санька подергал мотыльком. Тихо. Медленно и высоко поднял его над головой. Ничего.

– Эх, надо бы сорожек не воронам бросать, а поставить на живцов закидушки на щук! – оторвал от лунки голову. Взметнувшийся до неба стоял рядом. Запнувшись в очередной раз за кромку леса, он вдруг заметил на белом полотне реки темную точку, наклонился и увидел мальчика. Мальчик сидел над лункой, держа в руке тоненький прутик. Рядом темными комочками переминались вороны.

– Что это он делает? – взметнувшийся до неба наклонился, шурша большими, с блюдца, белыми хлопьями. Вороны тяжело взлетели, а

мальчик поднял голову. – Маленький серенький, надо его побелить. А это что за зеленые кусочки? А-а, рыбу ловит!

Санька никогда не видел такого густого снега, он стоял огромным высоченным столбом. Из столба слышался похожий на шепот мохнатый шорох. Столб, казалось, стоял только рядом с Санькой, дальше по реке не было такого снега.

– Завалит ненароком. Домой надо...Да и не ловится совсем! – чтобы не казаться трусом, сказал себе Санька. Он смотал мотылек, скидал в рюкзачок рыбу, привязал к санкам пешню и, оставляя пушисто-рыхлую борозду, побрел в сторону поселка.

Взметнувшийся до неба смотрел вслед. В поселок идти не хотелось. Огни...машины...люди с пехлами и метлами. Брр...

НА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ

Ворона клюет вмытого в ил налима. Увидела меня, по-старушечьи завертела головой, беспокойно подпрыгивая.

– Ешь! Я сытый.

Не поверила – отлетела в сторону.

Проплыл. Подлетела и вновь принялась трапезничать.

А сухие травы зеркально светятся. Темным удавом свернулся на них брошенный с зимы

конец сетей, в конце желтеют скелеты налимов.

Шанталык сияет, вспыхивает обмелевшим огненно-рыжим дном и катит еще мутную воду. Где-то хрипло кричит селезень, посвистывают кулички, шумно взлетают цапли, булькают ондатры.

В синеве пухло-серое облачко, словно народившийся утенок. Березки голые, но лиственницы уже нежно зеленеют. Кажется, они окутаны изумрудным дымком.

Утрами мороз-ребенок, дурачась, дышит на кочки, на лужицы в траве. От его дыхания кочки белеют, а лужицы покрываются тонко-широкими звездами.

От трав, илистых берегов, воды несет сырой вонью. Но я дышу и не могу надышаться! Весна!

Шанталык зарос тальником. Я продираюсь сквозь серые ветки. Желтые «барашки» осыпают зеленовато-золотистой пылью меня, лодку, которая недовольно поскрипывает, налетев на ветки, ворчит: «Нет простора! Нет! Прочь чертовы ветки!»

За поворотом мелькнула большая, похожая на кулачок, темно-зеленая головка. Селезень! Шумно взлетает, вспыхнув в синеве живым цветком. «Вертикалка» радостно ахает – селезень заваливается на бок и рушится в траву. Подплываю – где он? – а он, вспархивая, уже в двадцати метрах у самых кустов. «Вертикал-

ка» ахает вновь, сухо, хлестко, резко стегает селезня дробь, и он затихает.

Беру. Тяжелый. Кричащий от ужаса глаз заволакивает немота. Иду к лодке. Из темной проточки, где, словно мохнатое полотенце, висит коричневая тина, торпедой сходит отставшая икру щука.

Вдали грозно белеют снегами гольцы Святого Носа, и весенний простор, еще холодный, голый, светло-синий, вбирает меня, селезня и смеющийся над моей детской радостью Шанталык.

ВДРУГ ВСПОМНИЛОСЬ

Жизнь катится под горку. Да нет, почти прикатилась, движется по ровному полю, замирая с каждым днем. Вот-вот и остановится. И всё чаще приходят неожиданные воспоминания, незначительные, неважные, но ведь запомнились, значит, для чего-то нужны!

Интересны они кому-то? Нет, конечно. Но ведь, по большому счету, кроме самих себя, мы и не нужны никому. Каждый живет своим миром, своей семьей, маленькими победами и проблемами и уходит, мгновенно забытый даже соседом. Но был же он, был! Что-то должно остаться! Может, в чужих мимолетных снах?

Кстати, о снах. Долгое время снилась река, серая, молчащая, неподвижная. Я переплы-

вал её то на лодке, то на пароме, и не мог переплыть, и просыпался с горечью несовершенного.

«Не пойдёт дело, и удача убежит от меня. А может, сон – предвосхищение ухода? Словно душа во сне, как по карте, проходит непройденный, но неизбежный путь», – так я думал тогда. Сейчас не думаю, потому что наяву стою на том берегу.

Утрами запотевали окна, картошка сияла в холодной росе, и синева была тяжело-синяя, осенняя. Заканчивался август. Наступало время утиной охоты, уборки картошки и «мелочи» (моркови, свеклы, лука). Но созрел за лето и я. Ощущение внутренней силы, переходящей в телесную тяжесть, отдохнувшей души и свободного от суеты сердца помнится и сегодня, хотя давно напоминаю пустой пыльный мешок. А тогда казалось: не идешь – паришь, могуче и упруго, как этот вольный коршун.

Переулок был вечной ямой, сколько бы ни сыпали песка, шлака, щебенки. Весной напоминал лесное озеро, он и по форме был, как оно, продолговатое и небольшое.

За ночь «озеро» покрывалось льдом и дно имело льдистое. Однажды старичок на велосипеде по незнанию «прижался» к забору – у забора была особенная «глыба» – завалился

на бок и ушел с головой. Как же он, бедняга, материл лужу, власть, нас, хохотавших до слез мальчишек!

Почему этот мат, хохот, гортанный крик розовых на апрельском солнце чаек вспомнились сейчас, когда за окном городской квартиры молчит январское снежное небо?

Сколько прошло лет? Более сорока. Нет давно старика, исчезли, спившись, многие из тех хохочущих друзей детства, да и саму лужу засыпал какой-то коммерсант, построивший рядом с переулком большой супермаркет.

В щели старого забора лезли ветки малины, смородины, ранеток. Казалось, сад смотрит зелеными глазами на улицу, хочет побродить по поселку, убежать в лес.

А в сад сквозь те же щели смотрели наши жадные до плодов глаза. Иногда, подзадорив друг друга и набравшись мужества, мы молниеносно перемахивали через забор, жадно хватали черную гроздь смородины, выдерживали тугобокую репу или толстооранжевую морковь, похожую на плененного солдатику, и при малейшем шуме в ограде с замирающей дрожью в сердце слепо неслись прочь.

Также потом замирало сердце в лунную апрельскую ночь рядом с девчонкой, по-деревенски широкой в кости, пахнущей парным молоком и только что испеченным хлебом.

Забыто, к кому лазили, забыто, как выглядела девчонка, забыты многие друзья детства, и себя того, из детства и юности, я тоже забыл, но замирание сердца помнится. Оно вспоминалось и сегодня, когда накапывала в кружку корвалол моя старуха.

Вот в этом доме жил я – маленький мальчик, которого нет и никогда не будет.

Мама настряпала целую гору пухлых оладьев с хрустящими отросточками, которые так вкусно хрумкать! Я захотел мёда. Папа открыл подполье, чтобы слазить за ним, но на минуту отвлёкся. А я, забывшись, шагнул и столбиком, удачно попав в пролёт лестницы, нырнул в пахнущую мышами темноту.

Убился! Убился! – кричал отец, боясь заглянуть в глубокое подполье.

Не-ет! Я живой!

Меня извлекли. Но в подполье, так как отец, был человеком горячим, полетел бидон с мёдом.

Я до сих пор помню золотистую комету, благоухающую солнцем, цветами и пчёлами, на белой стенке подполья. Она так пахла и сияла, что из подполья надолго сбежали мыши!

Этот высокий леспромхозовский дом, сегодня почерневший от старости, был четвертушкой: в нём жили четыре семьи. В одной ограде с нами тётя Пана, державшая куриц, в другой – друг Костя.

Однажды мы стащили с ним кладку ослепительно белых ещё тёплых яиц и начали пулять в забор. Яйца глухо взрывались, оставляя на досках жёлтые следы разрывов. Нас разоблачили и выпороли.

С тётей Паной у меня связано самое жуткое воспоминание. Родители, тогда совсем молодые, ушли в кино, попросив соседку приглядеть за мной.

Я впервые остался один. Включил везде свет, задёрнул все шторы и, испуганно прислушиваясь к каждому шороху, начал ждать. То, что время, когда ждёшь, останавливается, я не знал.

Замерла, словно попав в густой кисель, стрелка часов. Навалилась на окна, грозясь выдавить их, тяжёлая темнота.

Чтобы стать незаметнее, я спрятался в угол, за своей кроватью.

Вдруг в стекло кто-то застучал. Я невесомо подошёл, отдернул штору, и ужас сковал льдом моё детское сердечко – к стеклу прилипло круглое, как луна, но сморщенное с вытаращенными глазами лицо, одно лицо. Оно, словно лист, вынырнуло из темноты и поскрипывало.

Уже где-то в груди зарождался, чтобы прорваться сквозь пересохшее горло режущий визг, как я узнал тётю Пану.

– Ну, что? Сидишь? Ну, сиди, сиди!

Горячая волна окатила моё тельце, я всхлипнул и в знак согласия задёргал головой.

Лужа у бабушкиного дома была большая. Она даже заливала палисадник. Поэтому дед Тимофей насыпал вдоль палисадника земляной вал, утрамбовывая его длинной чуркой и сапогами.

Маленькая лиственница – бабушка звала её елиной – сразу успокаивалась и нежно сияла светло-зелеными иголками. Иголки были мягкие, на них налипала синеватая паутина.

После дождя лужа дышала морской свежестью, слепила песочком берегов, похожих на маленькие пляжи. Хотелось лечь в лужу и плыть, плыть...

Но, несмотря на свою огромность, лужа была недостаточно глубока для плавания. Поэтому мы лишь бродили в ней босиком или бежали, поднимая фонтаны брызг.

Когда налетал ветер, поднимались волны. Мы вырезали из толстых морщинистых кусков коры кораблики, сооружали мачту, прикрепляли руль – гладко выстроганную щепку, тетрадный лист служил парусом.

Как стремительно, подгоняемая ветром, уходила в морской простор наша флотилия! Кораблики то взлетали на гребень волн, то рушились в бездну. Впереди их ждали географические открытия: остров в конце лужи, зеленая полоса гигантских водорослей (луже не удалось затопить пырей и лебеду у забора), золотые отмели.

Но не все доходили до цели. Одни перерачивались, попав в шторм, другие попада-

ли под обстрел береговых батарей вражеских государств (камень, пущенный из рогатки, разносил коринки на кусочки). Но один – два корабля достигали цели. Их капитаны становились победителями.

Сегодня, всматриваясь в детство, я понимаю: те победы ничем не отличались от взрослых, а по ликующему биению сердца, по крикам радости даже и превосходили!

Детство вспоминается так зримо, что становится больно, больно оттого, что его больше не будет. Никогда!

Вспоминаешь и словно присутствуешь на собственных похоронах. Но так оно и есть. Того меня давно нет. Есть память, мозаичная, эпизодическая, рваная.

Зеленая ботва, высоченная, густая, хоть ныряй! И ныряю.

Горечь земли, горечь сока сломанной ботвы. Задаст бабушка! Малиновая куколка, продолговатая, твердая. Чья?

А у серого забора жгучая крапива, иванчай, пырей и дырявые от ржавчины баночки мелкого частика. Мальчуган приподнимает баночку. Под ней дождевой червяк. Жирный...жиряк! Другой, поменьше, сам залез в банку.

«На рыбалку! Серегу позвать...Вечером клев о-го-го!» – вихрем несутся мысли, но шустрые ноги их обгоняют.

– Ты куда на ночь глядя? Какая рыбалка!
– Я скоро! – машет, убегая, бабушке мальчуган.

Бабушкин тополь, высоченный, раскинувший во все стороны лиственные руки, полон неугомонными воробьями.

Глаза мальчугана впиваются в ветки, ища за серебристой от ветра листвой удачную рогатку, небольшую, правильной формы.

А-а...нашел!

Срезанная ветка, очищенная от коры, бела, как снег, и пахнет по-весеннему сыро и едко.

Рогатка сделана. Три-четыре дробинки – заряд. И, со свистом прошивая листву, летит дробь. Сколько воробьев было сбито!

Серенькое тельце, ещё теплое, с дырочками на тонкой под перьями коже. Окровавленный клюв, захлебываясь в пенящейся крови, судорожно ловит воздух. Черные бусинки глаз затягивает смертная пленка.

Но даже воробьиной смертью полнилась жизнь мальчугана! Всё ново, свежо, пахуче. Всё доводит до дрожи.

Кот с урчанием пожирает воробья. Не спеша. Куда торопиться? И о чем-то задумавшись, смотрит на кота мальчуган.

Верблюжьим одеялом стелется по земле пламя. Красные, словно огненные, ноги маль-

чугана невольно отпрыгивают. Жжет! А грудь в пупырышках. Вода холодная, да и ветер.

Ноги, грудь, руки, губы живут у мальчугана отдельно, сами по себе. Хотя со стороны он одно угловатое и дрожащее после купания тело.

Вот ещё не высохшая рука тянет к посившим губам только что вынутую из пачки папироску, похожую на белый гвоздик. Затем рука заталкивает в костер веточку – глаза слезятся от дыма – ждет. Вспыхнула. Рука выдергивает веточку, машет ею, тушит пламя. Вот уже папироска прижалась к тлеющему концу, и жадно всасывает дымок рот.

А на реке победно гудит катер, со звоном лопается у берега волна. Пахнет соляжкой, нагретой землей, сыростью мокрой коры, влажно-солнечной головой друга, который прыгает на одной ноге, вытряхивая из уха воду.

За рекой желтая полоска песчаного берега, болото, зеленое широкое, упирающееся вдали в сиреневое крыло леса.

Крачка мелко задрожала крыльями, замерла и стремительно вонзилась в реку. Взлетела. В клюве живой монеткой сверкнула рыбешка.

Потрескивает костер. Верблюжьим одеялом стелется по земле пламя. Золотыми слитками сияют тела ребят. И лето только началось. Всё, всё еще впереди!

Жизнь прошумела, разметав нас, как кло-
чья дыма. Но ведь были же мы, были вот здесь,

на этой реке! Наши загорелые, как золотые слитки, тела вспыхивали на солнце и летели с пирса в высокую от прошедшего катера волну. Речная вода, теплая, чуть желтоватая, пахнувшая соляркой и гниющей от сплавливавшегося леса корой, была необходима, как воздух. Наши детские сердца были частичкой реки, синевы, желтых песков, частичкой синей громады Святого Носа, невесомо дыбившегося в июльском мареве.

То чувство радости от слияния с миром и сегодня поддерживает и спасает меня в самые черные и холодные ночи. Жизнь! Как ты сладка и печальна! Ты уже прошумела и исчезаешь в зовущей меня синей бездне.

КУРКУЛИ!

Небо на востоке матово светится, разгораясь алым сиянием. Лучится новогодней снежинкой Венера. Земля прохладна, чиста, под ногами похрустывает промытый дождем песок.

Кажется, что в такое утро, пропитанное надеждой нового дня, человек напрямую общается с Богом.

Впереди маячит женская фигура. Оглянулась на мои шаги. Совсем молодая, лет восемнадцать – двадцать. Опухшее от пьянки лицо, глаза отцвели, смотрят равнодушно, бессло-

весно, под одним – лиловый синяк. В руке котелок с шикшей.

Подошла к новым воротам. Застучала кулачком. Грозно залаял пес, зажглось евроокно, ворота открылись, показалась круглая, словно литая из чугуна, туша.

– Чего стучишь? Не видишь – кнопка, звонок!

– Ягоду вот...

– Да она мятая! Больше одной бутылки не дам!

– Целый день собирала...

– Рядиться? Проваливай, пьянь подзаборная!

– Хорошо, хорошо, я согласна!

– Давай...

Через минуту, закрывая собой дверной проем, туша показывается вновь:

– На! И проваливай!

Ворота закрылись. Серdito гавкнул пес и загремел цепью.

Девушка быстро сворачивает за угол, жадно отпивает, по-мужицки занюхивает ладонью и грозит кому-то детским кулачком:

– Куркули!

ГРИША

Телогреечка, замызганная шапчонка, старые «кирзяки». На пропитом лице мокрыми мышами бегают глаза. Давно нигде не работа-

ет – выгнали отовсюду. Когда не «болеет», ко-
лет старушкам дрова, промышляет заготовкой
и продажей мётел и голиков. Хватая меня за
рукав, торопясь, говорит:

– Доски нужны?

– Конечно! Как раз курятник строю.

– Две бутылки!

– Без проблем.

Гриша сияет. Так в промозглый день хлынет
в разрыв темных туч солнце, и всё: земля, за-
боры, крыши – вспыхнет мягким солнцем.

– Давай бутылки, я на пилораму к мужикам
побегу!

– Беги, вези и сразу получишь.

– Нет, надо сначала бутылки!

– Да зачем? Привезете и рассчитаюсь.

Гришино лицо перекосило, он хватается меня
уже обеими руками, тащит к себе:

– Да нет, сначала бутылки!

– Да зачем сначала?

– Нет, ты не понимаешь, сначала водку, а до-
ски мы мигом привезем!

– Ты же сам говоришь «мигом». Везите и
мигом получите.

У Гриши в глазах неприкрытая злость, он
готов ударить.

– Бутылки сначала, иначе не видать тебе до-
сок!

– Не видать, так не видать.

Я прощаюсь. За оградой слышится Гри-
шина ругать: «Интеллигент паршивый! Мать

твою...» Я знаю, что никаких досок Гриша бы мне не привез, знаю по опыту. Раньше по своей доверчивости и «интеллигентской» наивности я давал деньги вперед, после чего не видел ни «Гриши», ни денег. Никогда.

ЗАЧЕМ?

Старею и всё чаще оглядываюсь в прошлое. Кроме личного, неожиданно мелькнет то одно, то другое, казалось, навек забытое лицо.

Гена. Выцветшая от солнца и дождей штормовка, рваные брюки, дырявые кеды. От одежды пахнет застарелым потом и грязью. Серое лицо в щетине, как в плесени. Смотрит боязливо, полубезумно. Идет, дергаясь, как от судорог.

Нигде не работает, калымит: колет и складывает в поленницы дрова.

Дома старая мать, две бичеватые сестры с малыми детьми. И все на его тонкой шее.

– Что принесу, всё съедят, – по-старушечьи вздыхает, разглядывая, как единственную драгоценность, свои руки. Затем, робко улыбаясь:

– Вчера ребяташки нашли мышат, ещё слепых, розовых, посадили в банку, второй день с ними играют.

Кроме денег за работу, столуется у кого колет дрова.

– Недавно у одной старушки работал – хорошо попитался. Рубашку дала.

Ест много, про запас, съедая по шесть – семь яиц. Долго, отдыхая, пьет чай с сахаром.

– Я люблю сладенькое! – и вновь по-детски улыбается. Калым для него не только возможность заработать, но и по-человечески поесть, поговорить.

Он давно умер. Умерла его мать. Умерли вконец спившиеся сестры. Детей отдали в детские дома.

Зачем мне вспомнилось это?

БУДЕШЬ?

Венера, просияв небесной красотой, погасла. Небо свежо и чисто, лишь белеет, изъеденная синевой, луна. Но лес на краю болота еще хранит ночную темь и прохладу, насупился, молчит.

Травы в росе. Она вспыхивает малиновыми, голубыми, жемчужными искрами, отчего холодный воздух, кажется, теплеет. От лодки бегут волны, отражая, как зеркальца, солнце, и бегут, бегут по траве бархатные блики. Река дышит свежестью и горечью трав.

Пронеслась стайка крякв. Всплеснулся подъязок, щука, как торпеда, гоня в стороны волны, ушла на глубину. В траве кто-то сочно захрустел корешком, завтракает.

Вижу плоскодонку. Знакомый мужичок, не по возрасту сильно постаревший, пьющий. Проверяет сети. Я подъехал:

– Здорово!

– А-а... Здорово!

– Ну как?

– Да вот два налива да подъязки. Не идет еще налим, рано, вода теплая.

Наш разговор внимательно слушают коровы. Одна, видимо, от удивления неожиданно с шумом мочится.

– Пошла, пошла, нечисть! – машет на нее мужичок. – Вчера трем старушкам удачно загнал рыбу на самогонку.

Но и без слов видно по его опухшему потемневшему лицу со щелочками глаз, что он вчера сильно подгулял. Мужичок консервной банкой зачерпывает темную воду, жадно пьет. Зачерпывает вновь и по-джентельменски протягивает мне:

– Будешь?

ТАМ ЖЕ ЛЮДИ

Когда-то здесь был дом пионеров – длинное приземистое здание, наспех обшитое сырой «вагонкой» и слабо проолифленное. Территория вокруг здания была огорожена палисадником и засажена тополями.

Со временем «вагонка» высохла, её повело, местами выгнуло, досочки, как скандальные

супруги, разбежались, зияя пыльными пусто-
тами, олифа выцвела.

А когда социалистическая империя шла ко
дну, дом пионеров пошел по рукам. Сначала
его переоборудовали под детский сад, но де-
тей в поселке становилось с каждым годом всё
меньше и меньше – молодежь разъезжалась в
поисках работы. Затем из детского садика со-
здали экологический центр, закрывшийся по
той же причине.

Какое-то время дом, охраняемый сторожем
Гришей, сорокалетним мужичком, выглядев-
шим от постоянной пьянки на все шестьде-
сят, ещё держался. Но Гриша, как обнаглевшая
мышь, начал тащить сначала всё, что можно,
из дома, а потом, когда его прогнали, а ставку
сторожа из экономии сократили, стал пропи-
вать и сам дом. Начал он с рам и дверей, а за-
кончил шифером с крыши.

На этом Гришино разорение закончилось,
но не по причине проснувшейся сознательно-
сти – просто Гриша, пьяный в мат, спланиро-
вал вниз головой с куском шифера. Разорение
довершили Гришины собутыльники, оставив
в его память нетронутым лишь деревянный
барельеф Ленина на стене, которого Гриша
очень ценил – не Ленина, а сам барельеф, из-
готовленный Гришиными ещё трезво- масте-
ровыми руками. От дома остался остов, окру-
женный тополями. Палисадник разобрали и
продали раньше.

Сегодня, глядя на это мертвое место, чудится, что здесь никогда и не было людей, а жили одни тополя. Сначала слабенькие росточки, робко тянувшиеся к солнышку и дождю, затем подростки, озорно шумящие молодой листвой, потом вошедшие в силу и мускулистую зрелость высокие красавцы и красавицы, покрывающие в брачный период фатой пуха всю округу.

Они давно бы ушли, да мешал палисадник. Сегодня его нет, и тополя готовы выйти на дорогу, но задумались: стоит ли? Там же люди...

СВЕТ

– Говорю ему, давай, Иван, возьмем из Дома ребенка мальчишечку, не одним же нам на старости куковать!

– А он что?

– Ушел в другую комнату. Гляжу, стоит у окна – на дорогу смотрит. Подошла, прижалась к нему, слезы текут: «Не будет у нас своих! Возьмем!» Прижал к себе... ну и поехали. Взяли. Худющий! Глаза, словно постоянно хочет о чем-то спросить, а не спрашивает. Ходит, как старичок, тихо, осторожно. Ну, наготовили, за стол усадили, а он не ест и не ест. Болеет, думаем, а ему, оказывается, в этом доме-то печенье крошили, вот он и привык сразу крошки сосать, не откусывая и не жуя. Потом, конеч-

но, стал есть нормально. Вон играет... Алешка, иди, отец скоро с работы придет, домой пора, да и сыро! – женщина смотрит на небо – оно затянуто серыми тучами – на землю, которая после вчерашнего ненастья напитана тяжелой влагой. Но глаза её светятся таким счастьем, что, кажется, освещают и скамейку, на которой сидит с соседкой эта большая женщина, и светловолосого мальчугана, бегущего к ним, и меня, случайного услышавшего разговор, и это пасмурное небо и темную землю.

КРУПИНКИ

Предисловие

Жизнь текуча. Человек одинок и смертен. Он уходит, забытый уже при жизни. Он забывает даже себя. Его личность дробится, рассыпаясь на мысли, грезы, сны. Ни уловить, ни передать, будто и не жил. Словно золотой песок сыплется сквозь пальцы, и поток вечности уносит в небытие. Но какие-то крупинки остаются, сияют, притягивают.

Эта книга и есть россыпь крупинок, возможно, не нужных никому. Но, может, их сияние осветит родственные души, и надежда, что ты не одинок в этой завораживающей звездной пустоте, наполнит жизнь осмысленностью и радостью бытия.

Цветение

Пенятся черемухи, ранетки, вишни. Бело, невесомо, чисто. Кажется: дунет ветерок – и цветенье порхнет в синеву, превратившись в ослепительно белые облака.

Также когда-то цвел и я. И не руки черемух обнимали меня, а теплые руки девушки. Но также пахло от неё весенней свежестью, первоцветным цветом. И сладко и желанно сводила сердце неведомая боль, налитая восхищением перед миром, его красотой и пока ещё слепым чувством, что всё это: юность,

красота, восхищение, да и сама эта боль – мимолетны, как этот цвет, что скоро, совсем скоро, засыпят землю, как белые пятикопеечные монетки, круглые лепестки.

Жизнь! Как ты коротка! Но потому так прекрасна, желанна, сладостна!

И та девушка в зеленом пальто, похожая на первый сияющий солнцем листочек, идет и идет мне навстречу.

Дорога полыхает зеркальцами луж. Сияет бархатная синева. Ликует на тополе синица. Ликует мое сердце. И весь мир – одна ликующая улыбка.

Надо идти

Всю ночь ныли ноги, ныли так сильно, хоть на стенку толкай! Всю ночь снились кошмары, после каждого просыпался, слыша свой затихающий стон, и вновь проваливался в очередной кошмар.

Во сне пытался запомнить, что буду делать завтра: «во-первых...», «во-вторых...», «в-третьих...» А ноги ныли, словно их зло выворачивал кто-то невидимый, злобный, пышущий жаром.

Я мучительно старался вспомнить что «во-первых», «во-вторых», «в-третьих»? И не мог.

А за окном, сквозь сон, выл ветер, стучал колючим снегом в стекла, и, наверное, по темному асфальту метались снежные космы.

А ноги всё ныли...

Утром до боли натер их одеколоном. Эта привычка осталась с детства – бабушка лечила всё «тройняком», отчего в её комнате всегда стоял душный запах парикмахерской.

Одеколон помог – боль прошла. И вспомнился сон. Что делать? А что делать? Надо идти. Идти по пути ежедневных маленьких побед над собой. У этого пути нет конца, ибо конец – Бог, а Он недостижим. Но идти надо! Только на этом пути можно стать человеком.

Самовар

Бабушкин самовар, белый, блестящий, отражал мою сияющую мордашку, искаженно-приплюснутую, как розовый помидор.

Я и сегодня явственно обоняю запах дыма, смолисто горчащий потрескивающими лучинами, слышу сначала уютное, а затем сердитое сопение: «Ну что вы? Пора! Сколько ж можно?!» Вижу ослепительно белые яйца, которые бабушка варила в самоваре, в его верху.

Яйца были всмятку. Я мешал их с теплой мякотью калача в глубоком голубом блюде.

Жестяная труба того самовара давно сгнила и исчезла, как и та Россия, милая родина моего детства. Её заменил холодный блеск «тефали», которая, как утверждает протитутуируемая реклама, хотя и думает о нас, но ничегошеньки не чувствует, не любит, не жалеет.

Воскресну

Картошку убрали, и огород, словно изрытый воронками, застыл. Валяется ботва. Пусто.

Стою, опираясь на лопату. Отдыхаю.

Тёплая хрустальность небес. Плотная земля сжалась, ожидая зимы. На ней лежит мягкий солнечный свет, похожий на жалкую улыбку застенчивой девушки.

Жалкое всегда вызывает нежность и страдание. И мне хочется сгрести в объятия притихшую землю, бледное солнце, по-матерински мягкую синь и успокаивающе прошептать: «Ничего! В следующее лето вы вновь нальётесь пьяняще цветущей силой, а я, если и уйду, всё равно когда-нибудь воскресну и вновь буду с вами!»

И это пройдет

Весь день шел мокрый мелкий снег. Было сумрачно и тихо. Заборы и крыши почернели, пахли горящей сыростью. Под крышами булькало, как летом. Но лето прошло.

Я вышел в ограду. Скоро зима, работа и вечное ожидание счастья, которое, как эта снежинка мелькнет на мгновение и растает. Останется лишь темное пятнышко воспоминания.

Подошел Дружок. Шерсть у него топорщилась, морда, словно бисером, была усыпана белыми каплями. Дружок ткнул мордой мне в живот и громко вздохнул.

Я прижал его.
– Не грусти! И это пройдет...

Воробьи

Словно уютная россыпь пушисто-серых шариков. Это собираются в стайки воробьи.

Начало осени, ещё по-бабьи теплое, щедрое.

Рассыпались и склевывают семена трав. Невольно спугнешь, проходя мимо, – с шумом срываются в рассветную синеву.

Где-то далеко-далеко зима с лютыми морозами, метелями, сумрачными заледеневшими рассветами, когда кажется: солнце больше никогда не выйдет, не обогреет, пусть не теплом, светом.

Зима далеко. Но страх уже вползает под хрупкие перышки. Не оттого ли так испуганно, с немым криком, вспархивают воробышки? И, может, чудится им, как дымным от мороза утром кто-то из них зачернеет на взвизгивающей под ногами дороге, нет, не пушисто-теплым шариком, а мертвой ледышкой?

Что же вы, воробышки, не улетаєте в теплые края?

Наст времени

Осколками льда сверкают звезды. Большая приплюснутая луна кажется живым существом, которому мороз нипочем. Голубой снег накрыл толстым одеялом крыши заснувших

домов. На палисадниках, проводах, заборах пушистые гирлянды.

Всё спит, но это не так. Просто кто-то крикнул: «Замри!» – и всё замерло в голубом искрящемся оцепенении.

Но вот-вот он захохочет, и полетит с проводов, тополей, заборов пушистый снег, звонко зальются собаки, а в соседнем доме звякнут ворота, выйдет девушка и, чуть сторбившись, пойдет по синей дороге. И я брошусь догонять её.

О, моя снежная юность! Холодок губ, сияющие глаза. Ты под твердым настом времени. Лишь память иногда поскрипывает по нему, словно лыжи.

Творчество

Зарождается звук, и уже, даже не зная «что» будешь писать, знаешь, что напишешь. Словно нечто невидимое затягивает в воронку. Кружение нагоняет дрему, дрему внутреннюю. Телесно бодр, напряжен, но душа оторвалась – она где-то, где всё уже написано, остается лишь списать.

Но вот кружение прекращается, воронка отпускает – всплываешь, с изумлением смотря на исписанные листы.

– Неужели это я написал?

– Конечно, ты, кто же ещё? – отвечает с иронией затихающий звук.

Все мы собачки

Разноцветная очередь машин у парома. Меж ними снует собачка, та, что в деревне зовется постельной. Встает на задние лапки, опершись передними о дверцу машины, подобострастно виляет хвостом, смущенно улыбаясь, ждет, когда бросят что-нибудь. Если не дадут, бежит к следующей.

И сердце вдруг болезненно сжимается от жестокости мира. Знаешь: это не исправить, так было, есть, будет, но всё равно жалко и не столько собачку, сколько себя, потому что все мы разве не такие же собачки, просящие любви, доброты и нежности?

Трагедия

Зашел в курятник и увидел сдохшую курицу, уже втоптанную другими в грязь.

Так и у людей. Заболел или ушел на пенсию и никому не нужен, забыт.

Взял лопату и зарыл осклизлую тушку. Так и меня когда-то... Ну и что? Одна отнеслась, другой отработал. Трагедия не в этом, а в том, если неслась плохо, а работал спустя рукава.

Трагедия – как жил, а не в том, что умер.

Творец

В холодной синеве белой кружкой виснет месяц. С теплиц падают тягучие капли росы, образуя темные, как лунки, лужицы.

С шумом летают вороны. Ранним утром они кажутся огромными. Это оттого, что пусто, тихо, даже солнце только ало потягивается со сна.

Пора на охоту. И вдруг поймал себя на мысли: с большим удовольствием я переживаю охоту на листах бумаги. Видимо, старею, и природа писательства овладевает мною сильнее, чем настоящая природа. Когда пишу, я уже не просто созерцатель и добытчик, я творец!

Смотрю, смотрю...

Слепит солнце, и на белой тропинке полыхают осколки стекла. Сухо, жарко. Какие-то черные жуки, пробежав немного, взлетают и быстро садятся, вновь бегут и вновь взлетают.

Захожу в лес. Похрустывает ковер толокнянки. Млеют молоденькие сосенки с длинными свечками. Срываю одну, чищу и ем зеленова-то-сладко-ватую мякоть. Они и розовые лепестки багульника – лесное лакомство детства.

А на сухой лиственнице сидит пестрый дятел, стучит, добывая пропитание. Промчалась орущим черным шаром ворона. Вот и пески.

Желтые пески у Байкала – огромная золотая чаша, окаймленная кудрявым стлаником и низкими соснами.

На песке следы ворон и голубей. Ветер свил свеи, и они, как маленькие волны, неподвижно бегут к парящему в зное зеленому лесу, за ко-

торым чуть видна тяжелая синь Байкала. Песок упруг, на нем растут желтенькие цветочки.

Если посмотреть издали, видишь: над желтой чашей песков опрокинулась другая – синяя чаша неба, заливающая пески зноем и отцветающей синевой.

Выхожу на берег Байкала. Волны у берега светло-зеленые, веселые, светящиеся изнутри, дальше – темно-синие, неприветливо-грозные, с белыми гребешками.

Волна, накатывая, уходит в песок, и вспыхнувшая каёмка, слепя, бежит к воде.

Сажусь на серое, как кость, бревно и смотрю, смотрю...

Первая рыбалка

Туманное утро. Тихая река, оттого вода кажется тёплой, как парное молоко. Мы: я, отец, дядя Коля – ловим окуней.

О днище лодки зло бьют зелёными хвостами толстые окуни. Меня трясёт от возбуждения. Сердце бьётся, как окунь, навек пойманное в сети самой древней человеческой страстью, рыбалкой. Это самая ранняя рыбалка, которую я помню.

Чуть позже взошло мокрое солнце, рассыпным золотом вспыхнул жёлтый берег, и плавники окуней запылали алыми язычками.

Господи! Неужели это было? И тот мальчик я?

Спасибо!

Напротив нашей квартиры, через дорогу – а Сплавная улица была широкая, как поле – стояла столовая леспромхоза. Сегодня ни её, ни самого леспромхоза. Всё растащили подчистую! Выветрился даже запах солярки, казалось, въевшийся в землю навеки.

Но тогда столовая благоухала вкуснейшими запахами борща, котлет и стряпни. Особенно вкусны были большие, как тарелки, чуть сладковатые лепешки и пышные, похожие на подушечки булочки с поджаренными сладкими пупырышками. Прежде чем съесть булочку, я всегда съедал пупырышки, запивая их сладким чаем.

Милые стряпухи, вас, наверное, уже нет на свете, и всё же: спасибо за сдобную радость!

Парение

Апрель. На отлакированной солнцем дороге клочки зеленого сена, как букеты лета.

Сосны бархатно желтеют, по-бабьи ласкаясь к солнцу. Оно оранжевым шаром опускается за горизонт. Белый месяц, узкий и острый, начинает резать темнеющую синеву.

Тихо и умиротворенно. Тело, насквозь пропитанное душой, слегка поднимается над дорогой. Или кажется? Да нет же! Вот я «посамолётному» расставил руки, помогая ему парить. Это парение – осязаемое прикосновение к вечности.

А в поселке гулко лают собаки, черными кляксами стынут в закате вороны, и сквозь темнеющую полосу леса вспыхивают огни машин, словно сияющие шарики ртути.

Мальчуган

Прижимаю к груди мальчугана. Мальчуган трясется от холода и таращит испуганные глазенки. Я согреваю его руками, полрой куртки, дышу теплом на красненькие лапки.

– Ничего, ничего! Сейчас согреешься!

А сверху, из темно-ледяной бездны, рушится Ковш Большой Медведицы. Сейчас зачерпнет и вывалит нас где-нибудь на задворках Вселенной. Багряно горят звезды, разгораясь кровавым огнем всё сильнее и сильнее. И крепче я прижимаю мальчугана и вдруг понимаю: это я, в далеком-далеком детстве.

И просыпаюсь с мокрым от слёз лицом.

Стена дожда

Дождь падал отвесной стеной. Её шуршащая граница была прочерчена на дороге.

Зашел, постоял. Капли, как губки ребенка, осторожно коснулись лица. Вышел. Сухо. Дождь не двигался, шумел на расстоянии вытянутой руки.

Вновь прошел сквозь шуршащую стену. Горчащий запах прибитой влагой пыли. Свежесть.

Но вдруг стена исчезла, и в небе разноцветной крышей засияла радуга. Видимо, наверху решили, что для небесного дома достаточно одной крыши.

А на земле сверкал под тяжестью капель и солнца лес, дыша теплыми запахами трав, листьев, цветов, и стоял, подняв голову вверх, человек с сияющим от восторга сердцем.

Радость

Как радуется Бог? Это знают только поэты, художники, композиторы. Их творчество и есть выражение радости вечного Творца, радости, перед которой всё другое кажется пресным, мимолетным, беспомощным.

Не потому ли так быстро, устав от суеты, они уходят из жизни в мир вечного счастья и покоя?

След времени

Тропинка, по которой мы ходили с отцом за рябчиками, заросла иван-чаем, пушистыми сосенками, молоденькими березками, словно лес зализывает зеленым языком белый шрам, нанесенный человеком.

Я остановился – осязаемый след времени лежал передо мной. Уже нет тропинки, нет отца. Ещё немного, время слижет и меня. Исчезнет и след, видимый мной.

Сосны, синева, стук дятла...

Свидание

Весна. Сияют голубоватые сосульки, роняя серебряную капель. Сугробы, как ежи, цепляют на сверкающие иголки солнечную синеву. Блестят лужи, парят мокрые заборы, дыша горящей сыростью. На оттаявшей земле пробились зеленые лучики трав.

Не усидел дома, вышел. У крыльца нежится дымчатая кошечка, кокетливо мяукая. Напротив – кот Васька. Неотрывно смотрит на кошечку горящими глазами, весь как сжатая пружина.

Я невольно спугнул кошечку. Васька сердито мявкнул, словно обругал, и бросился вслед за дамой.

А куда идти мне?

Ливень

Сухой рассыпающийся треск. С запада, клубясь, надвигается темно-серая туча. В её низом чреве вспыхивают белые молнии и утробно перекачивается гром. Белесыми полосами повисли косматые дожди. Но ещё далеко...

Упали первые капли, темнея в пыли коричневыми точками. Запахло едкой горечью. Улица опустела. Исчез даже ветер.

И вдруг, словно там, вверху, кто-то опрокинул полную бадью. Оглушительно зашумело, водяной мутью задымились крыши, а на дорогах запрыгали стальные прутья ливня.

Всё спряталось, сжалось, затихло. И только ливень буйствовал и победно шумел, как знамя.

Синева

Голубой свет неба. Голубые, в солнечной дымке, дали. Синие вдали и сизые ближе горы. Зеленовато-синий простор Байкала. Лиловая пена сирени. Темно-синяя с голубыми искрами звезд ночная бездна.

Как тянет, завораживает всё синее!словно изначально, с самого рождения, душа рвется обратно в небеса, к Богу.

Не потому ли одно из самых ярких воспоминаний детства – большая коробка карандашей, в которой особенно запомнился голубой, светло-нежный, цвета лазури! Жалко было чинить.

Всё впереди. Рисуй, что хочешь, твори жизнь на чистых листах. Будто и не карандаши, а волшебные палочки, подаренные судьбой для исполнения желаний. Всё впереди...

Сегодня остался один карандаш, черный, не волшебный.

Собака

Задние ноги волочатся, вся трясется, хрипит. Глаза, как корочкой грязного льда, покрылись мутью. Скалится на подбежавшего кобеля, пытается лаять, но из горла лишь звук, будто ржавым ломом пробивают жесть.

Кобель, даже не обнюхав, убежал. Долго скрипуче кашляет, смотрит в серое небо, из которого выпадают редкие снежинки, дрожит.

Я вылил в помойку ведро. Медленно волочится. Из помойки валит теплый пар. Жадно нюхает, но запрыгнуть не может.

Больно на этом свете!

Надо просто жить

Таял иней, крыши темнели. Было холодно и безлюдно. И только вороны носились в серой хмари черными кусками железа и роняли в опаленную первым морозом листву гортанные крики.

Шел и уже привычно думал: жить, надо просто жить, находя радость в малом. Вот в этой пахнувшей прелью листве, в луне, похожей на мокрый снежок, который скатал вечно юный Бог, в мерзлой дороге, по которой звонко стучат мои ботинки, в работе и даже в этих мыслях, ведь, по большому счету, всё в нас.

А жизнь вынесет, куда надо. Только добросовестно делай свое дело, близкое уму и сердцу. И будет радость и результат. Иного пути нет. Иное – миражи и тупик.

Дай Бог тебе, Клаша, здоровья!

Поминки. Стол ломится от закусок: винегреты, салаты, фаршированная щука, холодец, омуль в кляре, колбасы, сыр, блины. Кроме

закусок, горячее: котлеты рыбные и мясные, пюре, солянка, тушеное с картошкой и морковкой мясо. Водку сначала подают на подносе, затем просто ставят бутылку на стол. Наливайте сами!

Говор, шум, звяканье вилок, вот уже кто-то и засмеялся. О покойнике будто и забыли.

Нигде языческая натура народа не проявляется так ярко, как на поминках. Иной раз и до песен доходит.

Поминали старушку. Через час встала соседка, такая же старенькая, и, подбрав от еды и вина, прочувственно произнесла, обращаясь к покойнице:

– Дай Бог тебе, Клаша, здоровья!

Лес

Лес, через который я ездил на велосипеде к бабушке, был почти дикий: рыжики, брусника, колокольчики, рыжие стрекозы на сухих тропинках, пропахших муравьиной кислотой, норы, правда, в них никто не жил, но от них по-прежнему веяло тайной.

Помню страх (отчего?), от которого я несся сломя голову и облегченно вздыхал, видя в просвете сосен широкую дорогу.

Лес, где ты? Тебя уже нет, как и нет моего детства. На твоём месте раскинулись улицы. Дома, огороды, заборы, шумящая ребятня. И только одинокие сосны, лысые, испытые, опустившиеся, хранят древесную память

о тебе. Да ещё я, человеческий пенек, за-
чем-то ставший на короткое время рядом с
ними.

Дяденька

Бабушкин дом. Улица детства. Дом осел. В
нем давно живут чужие. У зимовья разобра-
на крыша. Сарай спившиеся хозяева спилили
на дрова. Но забор цел, тот же, лишь обтянут
колючей проволокой, чтобы не лезли в сад за
ранетками.

Вдруг вспомнилось, как посылал в редак-
ции первые стихи, указывая бабушкин адрес.
Вдруг отказ, а отец прочтет!

Вечер. Мягкое солнце. Похожие на подрост-
ков тополя. Шумно вздыхают у ворот коровы.
На детской площадке резвится детвора.

Закроешь глаза, вдыхая запахи, вслушива-
ясь в звуки, осязая на лице ласковые ладошки
ветра, и кажется: попал в детство.

– Дяденька, а вы чего тут стоите?

Радость возвращения

Автобус, как большой с тупым носом зверь,
могуче несет меня по распахнуто белой, род-
ной дороге.

Всплывают картины детства. Я возвраща-
юсь из города. Вот и Братья. Глинистые откосы,
сочно сияющие на солнце. Мохнатый сосняк.
Густое вечернее солнце.

Автобус вбегает на первый Брат, и распахивается Усть-Баргузин, синий Байкал, желтая полоса песков, далеко-далеко вонзающаяся в Святой Нос. Маленькие домики, машины, люди. Почти в конце прямой, как линейка, улицы бабушкин домик. А в душе ликующая радость возвращения.

Когда-то и душа моя навсегда вернется в дом вечной любви.

Счастье

Весна, далекая, юношеская. Голубое небо. Сосны, залитые мягким солнцем. Их теплая хвоя. Рыхлый снег с темными точками мошек. И мое легкое-легкое тело, полное надежд.

Всё, всё ещё впереди: любовь, дело, которое, казалось, заполнит до дна, семья. В этом опьяняющем ожидании и было счастье!

Вечное

Белая кофта так плотно обтягивает упругую грудь, что проступают темнеющие бугорки сосков. Под джинсами кружится тугая попка. А сверху, с плеч, солнечным водопадом всё залито выющимися прядями, готовыми улететь от первого ветра. И столько здоровой чувственности, что у проходящих парней сводит от истомы скулы, их головы, как подсолнухи, поворачиваются вслед, ноги замирают, и вся суета, все проблемы испаряются без следа.

Остается одно вечное, неизбывное, держащее на себе всё человечество, имя которому – вечно молодая и обновляющая жизнь.

Скворцы

Каждое утро я ношу из колодца воду. Луна похожа на тонущий в апрельской синеве снежок. Под ногами похрустывают лужицы. Иногда ледок лопается, и коричневая жижа запрыгивает на брюки.

Никого нет. Рано. Лишь скворцы, словно одетые в черные фраки, важно поглядывают на меня с тополей, подсчитывая, сколько раз я схожу за водой.

Отобедал

Ел хлеб с медом и случайно уронил в траву несколько янтарных капелек. Откуда ни возьмись, прилетел большой, почти с детский кулачок, шмель. Недовольно гудя, сел и начал есть мед блестящим хоботком.

Осторожно потрогал его пальцем – шмель выразил такое же недовольство, как и всякое обедающее существо: поднял черную мохнатую ножку, как бы грозя, предупреждая, чтобы не мешали. Я легонько пихнул его. Недовольно зажужжал, грузно взлетел и начал угрожающе кружить надо мной. Я отошел от греха подальше.

Шмель так наелся меда, что сразу даже не смог взлететь, рухнул на землю, с трудом,

пыхтя, залез на травинку и только с неё грузно взлетел, грозно жужжа: «Расступись! Ссокрушшшуу!»

Хрюндя

Поросенок покосился, как бы спрашивая: «Когда жрать принесешь?»

– А-а...проголодался! Эх, ты, хрюндя, хрюндя! – сказал я.

Он засопел и полез ко мне. Мокро-белый пяточок плотоядно двигался, видимо, он находил меня вполне съедобным.

Я сжалился и набросал куузики. Поросенок зачавкал, изредка косясь, опасался: как бы я не урвал часть! Но потом успокоился. Ел и прудил.

Стариковское похрапывание

Василий – старый серый кот – целыми днями спит на сарае под брошенными детскими санками. Лишь изредка встает, тянется, облизывает себя и, повернувшись на другой бок, вновь засыпает.

Ни кошечки, ни птички с мышками его больше не тянут. Притягивает лишь тепло, нагретая крыша сарая, покой. И весь день слышится с крыши стариковское похрапывание. Так и хочется подняться на сарай и, как дедушку, накрыть Василия одеялом.

Девочка

По тусклой от луж дороге идет с зонтиком девочка. Зонт, как шляпка боровичка, а сама девочка – белая тугая ножка. Впереди серая стена шуршащих капель. Девочка проходит сквозь стену и исчезает.

И душа моя становится маленькой девочкой, забившейся в темном уголке. И тихо, и печально, и сладко в извечной жалости к миру.

Сколько осталось брести?

Повалил сонный снег, словно белая тишина накрыла поселок. В ней смутно, дремотно стали проступать картины детства.

...и только опустил блесёнку – тяжело придавило. Потянул, вытащил. Тугой, с могучую ладонь, окунь упруго изгибался, зло бил хвостом о тёмно-синий лёд, сухо звеня прилипшими льдинками и полыхая алыми плавниками.

А затем, сколько ни подрагивал мотыльком, сколько ни долбил новых лунок, ничего, только вздыхала тёмная вода, да насмешливо орала на сухой лесине ворона.

После обеда подул ветер, нанёс снег. Река бело задымилась. Снежный дым скрыл контуры поселка, грозно засвистел в ушах, сдирая со щёк последнее тепло.

На ощупь, почти сгибаясь до льда, задыхаясь от ветра, который вколачивал белым кулаком воздух обратно в лёгкие, побрел домой. Джек,

с залепленной снегом мордой и прижатыми ушами, потащился следом – за ним, проваливаясь в рыхлый снег, поволоклась кошёвка, в ней рюкзачок с единственным замёрзшим окуном.

Ветер набивал в варежки снег, снег таял – мёрзли руки. Стало страшно.

Но добрались до дороги, встали на твердь, ведущую, как нить Ариадны, к дому. Пошагали веселее. А вот и дома, тёмными пятнами проглядывающие в белом дыму.

Ах, Костя, тот, в шапке-ушанке, ты по-прежнему бредёшь в моей памяти, и ещё живой Джек бредёт за тобой! Сколько осталось брести?

Сны

Самое удивительное, но вспоминаются и сны, то есть то, чего не было. Хотя что сны – разве не наше отражение?

Я, худой, высокий, похож на виноградную гроздь, так как облеплен целующими меня девушками и моими детьми, которые обнимают ноги.

Это сон...

Снилась бархатно сизая, словно после дождя, стена неба, снилась тугая земля, дышащая теплой влагой, снились пылающие золотом перелески. К ним шла женщина с ребенком, девочкой, которую она держала за руку. Они уходили, уходили от меня.

Горечь утраты так сжала сердце, что я проснулся.

Синели окна. В доме было тихо – жена и дети спали. Но чувство утраты не проходило, потому что одиночество, вечно живущее во мне, не знало сна.

Что такое писательство?

Фразы... упругие, терпкие, как горячие объятия девушек. Именно они сжимают читательское внимание в своих объятиях. А содержание вторично.

Не случайно ещё Монтень отмечал: «Чем меньше таланта, тем важнее сюжет». А когда Хемингуэя спросили, как становятся писателем, он ответил: «Я думаю, надо любить предложения».

Писатель – человек с глазами, глядящими вовнутрь, человек – караулящий себя. Ведь зачастую мы словно слепы, так как не видим деталей, только фон, пятно.

Чтобы увидеть, надо остановиться. Остановиться не только телесно – внутренне, приглуша хаотичное мелькание мыслей и ощущений. Зрение рождается в покое.

Хохот

Снег защекотал нос, и вспомнилось детство: я, пухлый карапуз, тру и тру шерстяной варежкой розовый пятачок. А снежинки, боль-

шие, как блюдца, липнут и липнут, щекоча, дразня, и кажется: в звенящей тишине качается не снег, а белый хохот. Я его слышу, слышу! И начинаю тоже хохотать.

Боже! Как быстро пролетела жизнь! Тот хохот давно смолк.

Труба

Труба рыбозавода, не сам рыбозавод, а именно труба, кирпичная, коренастая в основании, могучая, выше сужалась, махая темной кисточкой дыма.

Она высится и сейчас. Но уже не дымит. Рыбозавод давно обанкротился, превратившись в пустые коробки зданий.

Но труба видна. И когда едешь из Баргузина, то, повернув налево, к парому, видишь прежде её, а уже потом поселок.

Что жизнь? Труба... Это я глупо и печально шучу.

Она вошла в мои сны. А в сны входит самое родное, близкое, отчего, как говорил златоглавый поэт, «так легко зарыдать». Я и рыдаю, охваченный печалью ухода, рыдаю словесно на этих листах.

Жизнь, ты проходишь, ты уже прошла. Больше никогда не будет дымить мохнатым, казалось, инистым зимой дымом моя труба, не будет весной заволакивать бархатную синеву, словно размазанным пеплом. Не будет.

Ничего! Значит, виднее мелькнет в чистую бездну серебряным слитком с золотистым от-

ливом моя душа. И кому дано, кто меня любит, тот увидит её, услышит звон небесного колокола и махнет на прощание...

А я, стремительно удаляясь к Богу, последней, что увижу: нечто, похожее на иголку. А... да это же труба! Прощай!

Бомжиха

Лицо черное, закопченное, одутловатое. Вместо обуви навернутое на ноги тряпье, похожее на лыжи. И идёт, как на лыжах, мелкими скользящими шажками, словно ещё чуть-чуть... и перейдет невидимую черту, отделяющую жизнь от смерти.

И вдруг, ломая корку обреченности, улыбка, застенчиво женская, просящая.

Господи! Неужели у рая и ада нет границ?

И жалко себя, как ребенка. А может, все мы вечные дети и, только умерев, становимся взрослыми?

Из жалости начинает расти желание стать сильным, знающим, взрослым, то есть свободным, независимым, богатым. А желание – мать всех побед и свершений.

Разное счастье

Маленький сынок богатенького папаши приехал в деревню к бабушке. Папаша, чтобы сыночек не мешал, щедро снабжал его деньгами, поэтому, что желала левая нога сыночка,

то и покупалось. Пожелала она купить и арбуз, запредельно дорогой в деревне в начале лета.

Арбуз сыночек не доел, не смог. Щедро плюнул в розовую мякоть и швырнул на землю.

Всё время следящий в щелочку забора за пиршеством соседский ребёнок в заплатанных сандалиях перескочил через забор, схватил арбуз и начал есть под счастливое улюлюканье и смех сыночка.

Наслаждаясь сладкой мякотью и нежно душистым запахом арбуза, виденного им до сих пор лишь издалека в магазине, он и не слышал гогота еще маленького скота. Он был счастлив.

Россия

Плоская, как доска, с грубо-темным лицом, идет, словно её несет ветром. Пьяная. Упала, сама встать не может.

Дети, три девочки, видимо, не впервые, шустро пытаются поднять мать, но не хватает сил. И на холодной дороге барахтается темный клубок.

Обреченная Россия.

Прощай!

– Здравствуйте! – а сам мучительно вспоминаю, кто это?

Грязненькая седина, дряблое личико, похожее на картошку-матку, в которой бутылоч-

ными осколками застряли глаза. Обрюзгшее, готовое навечно осесть тело.

«А-а... так это...»

Вот и всё, что осталось от когда-то тугого, налитого бычьим здоровьем и тщеславной силой человека, важного и подозрительного.

Жизнь как сияющая пыльца на крылышках бабочки. Жёсткие пальцы времени, беспощадно тиская, оставляют мертвое крылышко.

– Прощай!

Страшно

Паренек убил отчима. Убил за то, что тот избивал его мать. Убив, затолкал отчима в мешок, отвез на свалку и выбросил, как мусор. Дикие собаки отчима сожрали. Нашли отчима случайно: хозяйственный мужичок увидел в снегу унт, схватил, а из унта замерзший огрызок ноги торчит.

Двое пареньков хорошо выпили с девахой, а выпив, облили деваху бензином и подожгли. Подожгли от обиды: она перед этим заразила их, вот они и решили сжечь её вместе с заразой.

А один мужик... Но довольно! В аду не так страшно!

Жажда

Солнце взрыхлило влажный снег, раскидало зеркальца луж, и захотелось ранним-ранним утром побродить по пустому поселку, послу-

шать хруст подмерзших дорог и встретиться взглядом с ясным, как Бог, солнцем.

Откуда в человеке эта непонятная тяга к прекрасному? Оттого, что он изначально греховен и, осознавая это, тянется к идеалу? А может, с самого рождения нацелен на достижение совершенства и потому, даже потеряв лик человеческий, где-нибудь за грязным столом, стирая кулаком пьяные слезы, мычит от непонятной ему муки, скрипит зубами и трясет головой. Ведь как ни травит себя человек, жажда любви, красоты, добра не покидает его! Нутром знает, что он не трава, а нечто, предназначенное к высокому.

И не потому ли, даже если он живет по-свински, глаза его вспыхивают временами необычным светом и в момент смерти распаиваются от непонятного нам изумления!

Первый снег

Белый, как пух, дым. Мутно сиреневые дали. Черные заборы. На рябине цепенеют стекловидные капли.

И вдруг, сухо звеня, посыпался первый снег. Всё ожило. И даже тишина зашептала, как ребенок.

Несокрушимый

Шел по ребристой тропинке и вдруг увидел белый гриб.

Словно невидимый, но существующий лесной человечек хотел срубить его, рубил, рубил со всех сторон, но не смог. И гриб остался стоять с большими зарубками по бокам, по-прежнему крепкий и несокрушимый.

А лесной человечек, мокрый от пота, взвалил на спину топор и, тяжело дыша и чертыхаясь, скрылся в траве.

Поэт

Тонкие пальцы хватали, тискали, мяли что-то невидимое, но приятное. Сосредоточенно отсутствующие глаза высматривали «нечто» в самом себе, и оттого что не могли схватить это «нечто», лицо гримасничало, подергивалось.

Но какое блаженное успокоение разливалось по лицу, когда неуловимое было схвачено!

Большое тело, как тесто, неслышно расплывалось на стуле, руки затихали, взгляд уходил куда-то далеко-далеко. И весь поэт, несмотря на внешнюю рыхлость, дышал могучей силой духовного обретения.

Ветер

Загудело, заклубилось бурое марево. Захлопали окна. Лиственницы стали похожи на водоросли. Опустели улицы.

Вышел. Задохнулся. Понесло тело, как лист. Сечет песком, редкими каплями. Взметаются

фонтаны мусора. Могильно белеет бумага. В строительной конторе вышибло стекло, разметало по комнате листы. Погром!

Застучал дождь. Стихло. Заблестел асфальт. Поплыли сиреневые облака. Умиротворение.

Оса

Жарко. Сушь. И то, чего боялись, случилось.

Клубясь, вздымается сначала синюшно-белесый, затем пепельно-серый дым, замазывающий беловатой муťou синеву, горы, солнце. Пахнет гарью. Улицы наполнены синеватой мглой.

Леса горели месяц, и месяц сыпался на поселок, как сухой дождь, пепел. Краснело мутным кружком солнце.

Поймал на окне совершенно черную осу. Ползет, безумно шевеля черными усиками. Куда лететь?

Жизнь приснилась

Ему приснилась женщина, полно-сдобная, теплая и душистая. Она приняла его таким, какой он есть, приласкала, успокоила. Он засмеялся от радости и проснулся.

С трудом приподнял похмельную голову и увидел в треснувшем зеркале темное лицо, стол с пустыми бутылками, голые стены, простонал и уснул навсегда.

Никому не нужны

Тощая, изможденная болезнью, похожая на серую доску.

Муж-здоровяк с тугими сильными руками бросил, ушел к молодой.

Унижается, готова простить, как будто он молит о прощении. Жалка в своем горе, как жалки все птицы, звери, люди, надломленные болезнью, старостью, горемычной судьбой. Они никому не нужны, потому что вот-вот уйдут из жизни, и окружающие, пусть бессознательно, но ждут: когда же?

Как, в сущности, проста и жестока жизнь! И как мы одиноки, потому что, в конечном счете, нужны только себе!

А впереди...

Глухо лает собака. Торопливо, словно убегая, тикают часы. Чирикают, перебивая друг друга, воробьи. Протяжно промычала корова. Верно, отстала от стада. Прошумел в тополях ветер и стих. В печке потрескивают дрова. Пахнет дымком, лепешками. Позвякивает в кружке ложка. Бабушка с дедушкой пьют чай. Разговаривают.

Я открываю глаза. На портрете деда солнечная лента. Стекла сини, на них сверкает роса.

Я потягиваюсь. Впереди целый день с футболом, лаптой, лазанием по огородам. Да что день? Впереди целая жизнь! И то ли еще будет!

Я и сейчас иногда, проснувшись, закрываю глаза и вглядываюсь в прошлое. Я потягиваюсь. Хрустят кости, ноют ноги. А впереди...

Жизнь

После детства и юности душа будто останавливается и, придавленная житейским опытом, погружается в спячку. А годы летят! Мелькают лица, чувства, места и события, но словно за окном, не с тобой.

Стареешь и забываешь: а зачем собственно живешь? Наверное, не затем, чтобы быть погруженным в суету дел, ощущений и мелких грез. Нет! Жизнь – это радостное осознание своего пребывания на этой прекрасной земле!

Я живу! Что может быть чудеснее? Я живу... Вижу эту рябиновую гроздь, тяжело красную и влажную от утренней свежести, могу взять её в рот и почувствовать, как лопнут на зубах круглые бочоночки и челюсти сведет судорогой от терпко вяжущей кислоты. Слышу, как сухо шуршат похожие на плоскодонки листья. Вдыхаю горечь сырой земли, черных заборов. Могу зарыться в женскую грудь, теплую, мягкую, поцеловать шершавый сосок и задохнуться от счастья!

Жизнь – это счастье! По крайней мере, мы должны сделать её счастливой! А иначе, разве мы люди?

На весенней рыбалке

Снег уползает в глубь леса, словно зверь подбирает под себя белые лапы. Дорога...дороги почти нет – широкие сияющие лужи, пугающие незримой глубиной. Мохнатые сосны отражаются в них изумрудными клубами дыма.

Но «Уралу» не до красоты. Разрубает колесами зеркальную гладь, дымно чихает, парит радиатором.

Вот и Байкал. Лед сияет то теплым золотом, то сочной зеленью, то бездонной голубизной, переходящей в сиреневый мягкий свет. Из леса дремуче веет нагретой хвоей и сырой свежестью тающего снега. Орет потревоженная ворона, словно черное горло с клекотом заглатывает синеву.

А белый простор млеет теплом, слепит глаза. Святой Нос пугающе парит в солнечной дымке и не то медленно тонет, не то, напротив, невесомо поднимается в синеву.

Лед, проеденный водой и солнцем, местами уже темный, игольчатый. Идем, таща за собой сани. Полозья аппетитно хрумкают льдинки. Вот и лунки. Около них желтеет высохший бормаш.

Достаем удочки, опускаем леску. И сразу удар, словно там, на глубине, мормышка легла на наковальню, и её ударили серебряным молотом. И заводило, заводило. А вот и сам «молот» – широкий, тугой сиг, слепящий

серебром чешуи. Упруго изгибается, бьет лед хвостом, ловит ртом исчезнувшую воду. И кажется, там, в синеве, не перистые облака, а его залетевшие чешуйки.

Блики

Блики на траве, мягкие, бархатистые, тихие, словно солнце ласково гладит рыжеватую шевелюру болот.

Сияют паутины. Тонкие серебряные нити цепляются за траву, за лодку, налипают на куртку, лицо. Лицо начинает зудеться. Я с ожесточением тру нос и брови.

А блики переливаются, сияют. Так и хочется потрогать эти изумрудно-светящиеся волны! Я опускаю весла, лодку невесомо несет по течению, плавно разворачивая. Ну и пусть!

Всматриваюсь вдаль. Вон, словно беле-сый сучок, торчит цапля. Ястребок часто-часто трепещет крыльями и вдруг, высматривая добычу, замирает в отцветающей синеве. Мелькнула стайка чирков и села в траву. Хлопотливыми шариками рассыпались на берегу кулички. Черными пирамидками вздымаются хатки ондатры. Почти касаясь сиреневых тучек, кружат два коршуна.

Пахнет болотной сыростью, горечью трав. От далеких гольцов, уже присыпанных сверкающими снегами, веет холодом.

А блики бегут и бегут по стенкам трав, млеют в истоме. И я слышу, как солнце, успокаивая,

шепчет зеленому простору: «Ну и что осень! Что зима! Пройдут. А весной я согрею, растоплю снега. Зашумят веселые потоки, сбросит ледяной панцирь речка, взметнутся шелковистые травы. Вновь побегут по ним бархатные блики, и поплывет в лодке этот странный, именуемый себя поэтом человек с открытым любви и свету сердцем!»

Прыгающая дробь

6-е сентября. Но осень холодная. Утрами минусовая температура. Серебрится роса. Дороги темные, тяжелые. Солнце с трудом просачивается сквозь тучи, похожие на тлеющую золу. Святой Нос уже грозно сияет снежными голами.

Поехал на магзены, на охоту. И белая шуршащая пелена накрыла меня, лодку, пригнетившие травы, лес, пылающий холодным пламенем берез, стайки чирков, бесприютно мечущихся в белесой хмари. Слово с небес, как парашютист, неожиданно спустилась зима.

Сижу, опустив на колени ружье, слушаю белое шуршание, смотрю, как тают на подтоваре лодки снежинки, оставляя темные пятнышки. Пусто и одиноко, будто и нет меня. Я такой же, как вон та сереющая в снегу лиственница. Сижу, ни о чем не думая, разглядывая руки, пахнущие болотом, ружье – на стволах тускло светятся капельки.

Не выдержал и поехал домой. Уже по дороге догнал град – запрыгала белая дробь, больно стала сечь лицо. Эта зима, злясь, что я сбежал от неё, палила и палила мне вслед белой дробью.

Берег

Когда-то в далеком-далеком детстве это был желтый, словно лысина реки, невысокий бугор. Сегодня берег зарос высокой травой, тальником, березой, черемухой, но, как и прежде, узок. За ним сухое болото, за болотом «безнадежная линия бесконечных лесов».

На песке, как сугроб, стоя чаяк. У самого берега россыпью булавок темнеют мальки.

Тихо и солнечно. Пухло-белые, словно подмоченные снизу, плывут в бездонной синеве облака.

Сижу на сером, как кость, бревне, курю, всматриваясь в прошлое.

Вон там шумел гудками катеров, кабель-кранами, кузницей, лесовозами Сплав. Сейчас голо, пусто. На месте леспромхоза кладбищенская тишина.

Дальше дымил высоченной кирпичной трубой и непрерывно «стучал» рыбокомбинат, выпускавший плоские баночки вкуснейшего мелкого частичка в томате. Сейчас молчание. Как символ смерти – затопленный у пирса катер, лишь торчит крестом мачта.

А вон там жарко пылал рыжий костер, и слитком золота грел свое загорелое тело под-

росток с именем Костя. Где он? Седой старик, сидящий сейчас на сером бревне, не он. Скоро старик встанет, сядет в лодку и уплывет в вечность.

Но так же будет золотиться берег, изумрудно пениться лес и катить литую, похожую на зеленоватое стекло, воду Баргузин.

Три женщины

«Не горбатся!» – говорит мама. Но как не горбатиться, если кажется: все только и делают, что с ухмылкой разглядывают тебя. Поэтому втягиваешь плечи и, задышавшись, убыстряешь шаг, почти пробегая мимо встречных девчат.

А в сердце надежда: а вдруг? И оглядываешься, оглядываешься.

Да кому я нужен?! Толст, губы разбарабанило болячкой, они треснули. И чем мазать?

И только поэзия и природа, как заботливые женщины, спасали душу подростка. Ах, как ласкали они жадное до любви сердце! Теплая волна сдавливала горло, по телу катилась звонистая дрожь, руки взлетали и стихи, стихи...

Зацелую допьяна, изомну, как цвет.

Хмельному от радости пересуду нет.

За сияющими стеклами весенняя синь, водопад серебряной капли. Выскочишь на крыльцо: заборы парят, пахнут душной горечью, земля оттаяла, и травка, как первый пушок подростка, сияет на солнце. На топо-

ле – какой высоченный! – заливается синица, видимо, совсем сошла с ума от любви и весны.

И уже где-то на горизонте маячит ещё одна женщина, которую когда-то давным-давно, аж до нашей эры, древние греки называли Мюзой. Её не разглядеть, но дуновение духов уже сводит сладостной судорогой душу.

Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И текут у подростка слезы. «Милый мальчик! – шепчу я ему из далекого грядущего. – Счастливее этих слез у тебя уже ничего не будет! Но ты не горюй! Три женщины никогда не покинут тебя!»

Тележка

Отец посадил ранетки, смородину и зачем-то тальник, сыпавший каждую осень длинные, как собачьи языки, листья. Правда, потом кто-то сказал, что тальник – символ печали. И тальник вырубili.

Смородина разрослась, темнея гроздьями, похожими на девичьи груди. Она и пахла, как девчата, терпко и пьяняще.

Но её надо было много поливать, и я, угловатый подросток, раз по пять возил на тележке с широкими чугунными колесами, оглушительно гроыхающими, воду в бочонке. В него входило четыре бадьи. Бадья была сварена из листового железа.

Тележка сохранилась. И я, иногда глядя её деревянные ручки, закрываю глаза и вновь вижу себя подростком, слышу громоуханье ко-лес, плеск воды, вдыхаю горечь намочшего де-рева и застенчиво скашиваю глаза налево, на окна дома, в котором живет моя первая любовь.

Что-то падает на землю. Опять расплеска-лась! Да нет, это просто сегодняшние слезы. Их не расплещешь.

1-е сентября

Махровые бархатцы, желтые, почти солнеч-ные, и огненно-оранжевые, напомнили 1-е сентября, праздник радости и печали.

Я нес большой благоухающий разноцвет-ными запахами букет, и лицо моё пылало и светилось от счастья, как этот солнечный бар-хатец. Тот я – мальчик-цветочек – давно от-цвел. Остался жесткий стебель да жухнувшие на морозе жизни листья.

А небо по-прежнему синее, по-прежнему ликует солнце, и новые цветы высыпались на поляну. Дай Бог им долгого цвета! Дай Бог, чтобы над ними всегда ликовала эта синева с солнцем, похожим на махровый бархатец.

Рябина

На рябине тёплые блики, словно бархатные волны, бегут и бегут по стволу. Узкие листья так пропитаны солнцем, что светятся.

На ствол села бабочка и побежала, побежала вверх, как по взлетной полосе.

Какие огромные крылья! Сейчас взлетит...

Так когда-то взлетел в вечность сосед Степан.

Я сидел за столом, проверяя ученические тетради. Послышались шаги. Я оторвал уставшие глаза от сочинения – за ветками рябины промелькнула знакомая фигура. Сосед...

А минут через десять за стеной раздались крики и плач. Подлетела «скорая». Что? Умер!

Сколько людей, давно ушедших и забытых, блуждает в моей памяти! Где они?

А рябина разрослась и кокетливо кивает ветру мохнато-зелёной головой с алыми сережками.

Сейчас, когда я пишу это, – утро. Тусклыми зеркальцами светятся лужи. Тёмная рябина роняет заблудившиеся в листе капли. А когда налетает ветер, рябина испуганно вскрикивает водяной россыпью.

За ней чернеют заборы. Но горизонт на востоке уже начинает сиять. И вскоре заборы мокро вспыхивают солнцем и вяло парят. Пахнет горечью, и цветы, горя разноцветными фонариками, невидимо дышат в тугую синеву сладковатым запахом.

Тетя Клава

В субботу 4 июня 2005 года умерла тетя Клава. Отошла в «ту страну, где тишь и благодать», большая и добрая часть моего детства, а значит, и меня.

Если бы она жила в Усть-Баргузине, в движении (она весь день ходила по подругам-старушкам), жила бы до сих пор. А в городе, быстро отвыкнув ходить, запнулась о порог, упала.

После падения не смогла преодолеть старческий страх, сидела, распухая, отечная, пахнущая мочой. Ей бесцветные глаза смотрели уже из «того» мира.

А когда-то круглая, тугая, белая, как сдобное тесто, сильная (могла из магазина принести домой мешок муки), по-доброму крикливая, как сама жизнь!

В день похорон несколько раз налетал с колким шумом освежающий дождик. Налетит, пошумит и затихнет. И в листве победно заплохает солнце.

На кладбище только свои. Непривычно, потому что в деревне всегда народ, всегда старушки, не столько переживающие смерть ближнего, сколько воображаемую свою, всегда мужики, курящие, разговаривающие, неосознанно предвкушающие выпивку и обильную закуску.

Зарыли, поставили памятник, оградку. Быстро, за час.

И вновь дождик, словно Всевышний уронил слезу на добрую рабу Клавдию.

Вечная молодость

Сереет, сыплется снег. Сажусь за стол. Тихо. Белый лист, ручка и моя одинокая душа в уже

постаревшем теле. Ни телу, ни душе некуда, да и незачем идти.

Дом, стол, лист. Что ещё надо? Сейчас побегут по листу строчки, рождая друзей и веселье, сияние синевы и волн, зазвучат слова, и горячий юноша, стиснув пухлую девушку, звонко поцелует её в малиновые губы.

И нет ни снега, ни старого тела, ни одинокой души – есть вечная молодость творчества, которая всегда со мной.

Январское утро

Заря. Небо, словно покрытое инеем, начинает тихо искриться. Стынет сугробом луна. Синий снег лопается под ногами, как лампочки. От мороза такой пар, что выдохнешь – и не видно, что впереди.

Тяжелая белизна крыш, сугробов, дорог. Бежит собака, белесая от инея, на морде сосульки. Мохнатыми столбами стоят сизые дымы.

Это было январским утром далекого дня детства.

Костя

Оградка. Памятник. На фотографии круглое с печальным взглядом лицо. И бежит по лицу рыжий муравей.

Костя К. Не в очередь пошел в рейс (попросил напарник, у которого рожала жена), перевернулся и сгорел.

Рядом лежит мать, тихая, сгорбленная горем старушка. Костя был единственным сыном, которого она к тому же одна и вырастила.

И вдруг вспомнилось: мы, пятиклассники, облили с ним керосином муравейник и подожгли. Муравьи метались в рыже-белесом пламени, горели, превращаясь в маслянистые комочки.

Сухо потрескивали хвоинки, веточки. Мы испугались и начали топтать – пламя едко зачало. Кто-то пугнул нас, и мы бросились бежать.

Шумят мохнатые сосны. Орет ворона. Хозяиственным мужичком суетится поползень. Бегаёт, трогая усиками лицо, муравей. Костя молчит. Молчу и я.

Глухая зима

За окном ледяным огнем пылают звезды. Глухая зима.

На душе так паршиво, словно умер, но никто об этом не знает, поэтому и не похоронили.

Сажу на кровати, потираю колени. Сырая ноющая боль. Тут ещё сон... Приснился голос: «Каин, где твой брат Авель?» Каин – это я. Но будто не Авеля я убил, а самого себя, хорошего.

Луна, как апельсин, лопнула на морозе и застыла. И застыл на оконных узорах сок. Золотисто сияет. Но не слизать.

А кому я нужен? Да никому! Люди, как мо-крицы, ползающие по своим углам. Холодно-скользкие и завистливо-жадные.

Вспомнилось чье-то плоское лицо, с которого грязными льдинками соскальзывали улыбки, лисий голосок, а из зева нестерпимо воняло телесной и душевной падалью. Изыди от меня!

Холодно. Закутался в одеяло. А ноги ноют, ноют. Надо бы встать, затопить печку, заварить крепкий чай. Да зачем?

Глухая зима.

«Паучки»

Уже несколько лет вижу старушку. Маленькая, щупленькая, похожая на паучка. На спине самодельный рюкзачок, сделанный из белого мешка. В мешке пачка газет.

Пританцовывает на морозе, ласково зазывает: «Купите свежую газету! Купите...»

А в газете слухи, сплетни, клевета, ужас сегодняшнего времени, пошлые анекдоты – всё то, до чего так падок грешный человек. В киосках газеты ещё нет – и берут, берут. А «паучок» имеет с каждого номера три рубля.

А другие «паучки» торгуют паленой водкой, самогоном, сигаретами. Жить надо. Мала пенсия. Есть покупатели.

Ну и что, что травятся, что свежая газета пахнет не свежо, а трупно, тоже травя ум и

душу, пробуждая в человеке скота. Что из этого? «Паучкам» хочется жить.

И мне кажется: дай им волю, они будут торговать всем, губящим род человеческий, хотя пора уже им готовиться к уходу, думать о Боге. Но Бог далеко, а три рубля – вот они!

Тень

Моя тень на дороге. Худая, подростковая. Я убыстряю шаги, но она ускользает, как юность. Так и идут по дороге два человека: один, сегодняшний, грузный, с отвислым, как тесто, лицом, другой – юный, летящий в будущее...в будущее, которое давно уже идёт по пятам.

Как я люблю...

С крыши рушатся крупные капли в уже выбитые прошлым дождем ямки. Ямки быстро наполняются водой, поэтому упавшая капля выбивает из воды стеклянный колпачок. Выбьет и словно снимет его, выбьет и снимет.

А рябина недовольно топорщится и мотает на ветру зеленой головой, стряхивая капли.

Заборы черны, дали серы, и душа утонула в покое.

Как я люблю эти стуки, бульканье, мокрый шорох в тугой листве, потемневшие стволы и заборы! И свежесть, свежесть...Первозданная, из детства, когда всё внове.

В школьные годы я любил под шум дождя читать «Мертвые души», особенно то место, когда Чичиков сидит в комнате один: «Но в продолжение того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризловая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только (увы!) слишком протертую русским забубенным народом дорогу, – в это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя».

А дождь льет. Мокрая простыня неба накрыла землю. Из серой стены шуршащих капель, как темные призраки, выступают тополя.

Печально и тихо, словно девочка-душа забилась в уголок, молчит и вздыхает.

Аплодисменты

Школа. Спортзал. Траурный митинг по поводу смерти одного из генсеков. Классы выстроены буквой «п».

Секретарь парторганизации долго и нудно читает речь. Ребята переминаются с ноги на ногу, тихо шумят. Дреmlют, как усталые лошади, учителя.

Но вот речь закончена и – по привычке – взрыв аплодисментов. Воистину, устами младенцев глаголет Бог!

Расслоение

Ноябрь 1993-го. Иду на работу, в школу. Передо мной две ученицы. На одной огромные подшитые валенки, кажется, она тяжело тонет в них; на другой – модные сапожки, сияющие и мягкие, и вся она летящая и празднично-беззаботная.

8 Марта в школьной столовой. Празднование закончилось, и уборщицы суетливо расталкивают по карманам сосиски.

Первоклассник из бедной семьи, впервые увидев вареное яйцо, съел его со скорлупой.

Тогда всё это царапало сердце жалостью и состраданием, и все, ахая, обсуждали в учительской подобные случаи. Сегодня расслоившийся народ спокойно проходит мимо бомжей, роющихся в помойках, что-то неспешно доедающих и допивающих из выброшенных бутылок.

Ко всему-то подлец человек привыкает, и сердце его, покрытое панцирем наживы и самодовольства, уже не болит.

Именинник

– Ваня сегодня именинник! Его слово – закон! – смеясь, сказала мама, внося большой торт с желтыми, красными и белыми кремовыми розами.

У всех Ваниных гостей заблестели глаза, многие схватили ложки, а Маша, толстененькая девочка с розовым бантом, даже захлопала в ладошки.

Именинник подозрительно оглядел всех и издал «закон»:

– Торт не есть!

Хорошо, что у мамы оказался второй, поменьше.

Весна

С крыш рушатся сосульки, со звоном лопаются, сияя голубоватыми осколками хрусталя.

Стремительно сошел снег. Лишь у заборов, как ежи, дремлют сугробы. Дороги подсыхают. Лужи к утру превращаются в скорлупу, сухо хрупающую под ногами. Теплеет синева. Желтеет хвоя сосен.

Устало парит крыльцо. На нем греется Васька, пыльный и старый. Когда проходишь мимо, даже не открывает глаза, лишь подрагивает серым усом. Раздражают Ваську и воробьи, совсем ошалели от тепла и сытости. «Орут и орут...Ну погодите, разлохматятся листвой тополя, поднимутся в полный рост травы – будет

где спрятаться! Мало я вас прошлым летом...»
– и Васька сладко выпускает коготки.

Беру ведра, иду за водой. На дороге свадьба ворон. Так же, как воробьи, трепещут крыльями и вытягивают вверх головы. Весной даже вороны кричат мелодично.

Прилетели скворцы, лохматые в полете, черные, как сажа, и сразу с головой ушли в семейное благоустройство.

И в колодец пробралась весна. Зеленоватый наросший за зиму лед, словно панцирь, отстал от сруба, вот-вот обрушится вниз.

Несу ведра домой. Синеватые льдинки удаются о стенки – раздается мелодичный звон, будто несу не ведра, а колокола весны. И вторит колокольному звону синица. Маленькая, а как поет! На всю ивановскую...до самых сиреневых облаков.

Весна. Скоро клейкие листочки тополей и берез засияют, как детские глазенки, впитывая распахнутую синь, смеющееся в лужицах солнце, прилетевших чаек, ослепительно белых, как воспоминания зимы. Скоро, скоро...

А ночью выкатывается неестественно большая приплюснутая луна и спит, как прожектор. Но даже ночью в воздухе, пропитанном теплой горечью оттаявшей земли, в голубоватых лучах сосуллек, в сиянии девичьих глаз чувствуется весна.

На солнечном заборе
Черно и тяжело
Сидят вороны, споря,
Но мирно и не зло.
Сияет зеркалами
Намокший огород.
Вверху над всеми нами
Синеет синий свод.
И шоколадной крошкой
Всё сыплют тополя,
И, словно понарошку,
Чуть зелены поля.
Но на реке студёной,
На шири темных вод,
Уже с прощальным стоном
Последний лед плывет.

За бормашом

Всю дорогу на голой доске. И так, и этак, то на одной, то на другой холке. Невмоготу!

Солнце вползает в окошечко «вахтовки», как большой золотой паук, и сразу закутывает серой паутиной папиросный дым, пыль, сидящих напротив мужиков и мокрые мешки с бормашами.

Закрываю глаза ... бормаши, бормаши, бормаши, серые в мутной воде, парами, поодиночке. Сырой запах талого льда, горечь гниющих трав. У-у-у – жутко несется с вышины. Это кулик. Опьянел от весны, любви, света.

Смех, голос:

– Мужик таскает и таскает. Мы уж обдолбили его, но хоть бы поклевка! А вокруг него – не поверишь! – россыпь, как серебро, так и горит на солнце. Покажи, говорим, чем обвинял! Но он, куркуль, ни гу-гу. Но Бог-то всё видит, и хариус оторвал его счастье...

Впереди

Росистое утро. Сине и свежо. Земля пахнет горечью. На дорогах, как голубые озёра, стаи голубей.

Я мчусь на велосипеде к бабушке. Посвистывает в ушах ветер, плещутся «озёра». Впереди не только чай с горячим, пахнущим дымком калачом и конфетами, впереди – вся жизнь! Жаль, что я не знал этого.

Катушка

Вот здесь стояла высоченная катушка! Крутой скат облили водой, и кто на санках, кто на доске, кто на куске картонного ящика, а кто и на собственной попе мчался вниз, образуя кучу малу. Крики, визг, смех, чей-то плачущий вой.

Отлетали пуговицы, рвались штаны, иной раз лицо начинало сиять фиолетовым синяком или дыбилось опухшей губой.

Но зато как сладко сжималось в груди, когда летел вниз, в бездонную пропасть! Как приятно было притиснуть визжащую алоликую дев-

чонку, словно случайно залезть ей под пальто и стиснуть нечто теплобугрящее, тугое, сводящее душу желанной судорогой!

Юность

Томики Есенина. Зеленые, небольшие, как его жизнь. Блокнот, ручка. И жажда писать самому, и мука, что не получается.

А на стекле тает синеватая корочка льда. Апрель. Видны сугробы, похожие на больших ежей, лужицы, в которых отражается солнечная синева, и первые лучи молодой травы на оттаявших бугорках.

И вера, что скоро, очень скоро и земля, и я запыхаем буйной зеленью, солнцем, творчеством!

Ожидание

Иногда неожиданно охватывает безотчетное ожидание счастья, словно точно знаешь, что вот-вот, буквально завтра, счастье накроет тебя с головой.

Как правило, это обманывает. Но ожидание — уже само по себе счастье. Такие мгновения даже и помнятся дольше, чем реальные обретения.

Одно и то же

И приснилась девушка, худенькая, теплая. И сердце свело судорогой от нежности и страсти. И страсть была доброй и тихой.

Маленькие груди с остренькими, словно незрелые ягодки малины, сосками чуть покалывали мои губы, мокрые от слез. Девушка что-то утешительно шептала, растворяясь во мне всем телом, и я невесомо вис, будто под мной было не белеющее тело, а Вселенная, вроде Млечного Пути.

Я плакал от переполнявшей меня силы, которая вдруг осознала, что она ничто, потому что есть могущественнее её: нечто всё подчиняющее себе нежностью и заботливой слабостью. Этому нечто человечество за прожитые тысячелетия подобрало лишь два имени: Бог и любовь, что, в сущности, одно и то же!

Старушки

Весна, словно лёгкая на ноги девчушка, белозубая хохотунья и непоседа, растопила за день снег, разлив у ворот целое озеро. В озере мягко отражалось синее небо с белыми, как чайки, облаками.

Но лишь стемнело, показалась, грозя толстущей сосулькой, ещё крепкая старуха-зима и заморозила озеро, а в озеро вмерзли ворота.

Утром другая бабка, Прасковья, долго ругалась, отдалбливая лёд – не могла открыть ворота.

Но хлопотунья-весна на бабок ноль внимания – вновь шумит ручьями, смеётся капелью, сверкает мокрыми заборами.

И смирились старушки. Одна бросила на землю свою толстую в виде сосульки палку и скрылась в седых гольцах, другая, поставив в сенцах топор, ушла стряпать калачи.

Итог

В окне отражалось его лицо, лицо умершего человека, хотя он был ещё живой. А дальше, в чёрной бездне, сияла луна, словно живая, но мёртвая, как его лицо. И больше ничего.

Вот он итог жизни – отражение в бездне, которой нет.

Ты никому не нужен, брат,
Ни другу, ни жене.
Пуškai другое говорят,
Но это не по мне.
На землю снег летит с небес –
Земля белым-бела.
Нас кинул, кинул даже бес.
Такие вот дела.
Да и себе ты нужен, брат?
Ответь без всяких врак.
Тебе, возможно, только рад,
Коль есть, один лишь враг.

Но тенькают синицы

Снег сошёл, ворохи ржавых листьев словно осень. Но не осень – весна, ранняя, обнажившая россыпи мусора, человеческого тоже.

Вот из канализационного люка выполз бомж, совсем ещё молодой, лет тридцати. Стоит на четвереньках, как неведомое тёмное существо, качается. Встал. Сделал три шага, бросило в сторону, вновь опустился на четыре конечности, сел. Лицо подо льдом тяжёлого похмелья неживое, утонувшее.

Сколько таких по России? Неужели мы катимся в пещерные времена?

Но тенькают в тополях синицы, нежно, протяжно.

Гимн женщине

Женщина... Мама, бабушка, любимая. От вашей всеобъемлющей любви, нежности, заботы моё сердце лучится верой, что жизнь прекрасна, что я хороший! Вы – светлые лики незримого Бога, ибо Бог – любовь, любовь вечная, всепрощающая, поднимающая из житейской грязи.

Мама... Старенькая, седая, тихая. Твоё лицо, руки в глубоких морщинах, но сердце, как и прежде, согревает мою уставшую душу неумирающей любовью. И я верю: ты не оставишь меня и в местах, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.

Бабушка... Твоя душа там, в бездонной синеве, где вечный покой и куда в свой срок придёт и непременно встретится с тобой твой уже давно седой внук. Но образ твой, как Ангел-Хранитель, всегда со мной!

Любимая... Всё понимающая, ставшая моим вторым «я», я горю и никак не могу сгореть в твоём телесном огне, словно сияет в душе вечная заря и ликующим солнцем горит сердце.

Милые женщины! Если вы покинете нас, Вселенная рухнет. Лучитесь, как и прежде, любовью и нежностью, красотой и здоровьем и простите нас, мужчин, за всё!

Цветочная игра

Котенок любил играть со цветами. У бабушки их было много: анютины глазки, бархатцы, гладиолусы, георгины. В цветах весь день тяжело гудели толстые шмели.

Котенок нюхал цветы, чихал и быстро-быстро ловил невидимый запах. А так как цветов было много и все они пахли по-разному, котенок не мог отыскать «чихающий» цветок, кружился и прыгал.

Он и сам был похож на дымчатый, с белыми лепестками на лбу, цветочек. Поэтому и казалось издали: цветы играли сами с собой.

Это было так красиво, что и небо, давно увлечённое цветочной игрой, решило поиграть тоже – и вмиг от края и до края расцвёл цветок.

Он был такой огромный, такой сияющий, что котенок сел, задрал голову и смотрел, смотрел, пока радуга не отцвела.

Утро

Проснулся. Кто-то возится под окном, но не пугающе, а по-доброму. А-а, это дождь...

Вот зашептал. Нет, это шепчет молодая листва, от дождя помолодевшая ещё больше. Даже светится в пухлой серости нависших небес.

И душа моя, промытая сном, тоже помолодела и светится любовью к новому дню, людям, миру. Эх! И вскочил с кровати, как в детстве.

Звучат – зовут стихи

Учу стихи, вернее, вспоминаю вслух давно знакомое. Сегодня – Есенин, из того зеленого, юношеского томика. Сколько раз они звучали во мне! А всё помнятся. Выпеваю их полным голосом, и юность на миг касается сердца.

Апрель. Серебряное полыхание капли. Сквозь плывущие на стеклах льдинки – синева, бархатно-теплая, ласкающая.

Выйдешь – сыроватая горечь парящих заборов, ор воробьев и синица на самой верхушке сияющего тополя – поет на всю Сплавную, милую улицу моего детства.

Стоишь, вдыхаешь, даже не весну, а будущую жизнь, жмуришь от слепящего счастья глаза.

Протянул руку – и сосулька, толстая, ребристая, тающая в горячей руке. Хорошо!

А дома, на столе, зеленый томик, и сами звучат-зовут стихи:

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила...

Юность прошла, но стихи, питающие её,
звучат весенними ручейками и сегодня.

Покой

Как хорошо просто сидеть, смотря на пухло-серые облака, бездонную синеву, сизые горы! словно на минуту остановился, замер, забыв тревогу и вечный страх: «что завтра?»

Сидеть, следить за облаками, за мыслями, которые плывут также бездумно, неостановимо в никуда. Что может быть лучше?

Блескуче горит кусок стекла. Как весенняя льдинка, которую кружит мутная река. На фоне серой мути льдинка вспыхивает особенно ярко. Сколько людей, вспыхнув буйной молодостью, рассыпались в мутной суете жизни! Ни следа, ни памяти. Да и какой может быть след на воде или вот от этого лучика горящего стекла? разве что в сердце, но оно закрыто. Облака снизу пепельны, словно подмоченная зола. И живой белый шарик...чайка...всё дальше, дальше. Покой. Отдохновение от забот. Хорошо!

Особенно приятно сидеть июльским вечером на теплом крыльце.

На тополях, крышах, заборах мягкое солнце. На улице пусто. Слышно, как поют петухи, глухо лают собаки, да невидимо ноет-нудит одинокий комар.

Пахнет остывающим, чуть горчащим, жаром земли, заборов, дров.

Тихо разгорается закат. Луна ещё незрелобелая, но скоро начнет наливаться лимонным соком, созреет. Ночь стиснет её тьмою, и она зальет притихшие дома золотистым светом. Комар на фоне алого заката не комар, а большая летящая вдаль птица.

Всё иллюзорно. И я, сидящий на остывающем крыльце, не более, чем эта бархатная тень у забора. И только покой неизменен, осязаем, вечен.

Чужие

В телогрейке, шапке-ушанке, похожа на коренастого мужика. Гребёт пехлом снег. Глянула недобро, на приветствие не ответила.

А когда-то все десять лет учились в одном классе! Может, не узнала? Да нет, слишком зло посмотрела на мою модную дублёнку.

Просто кончилась школа, кончилась давно, и жизнь отрезала друг от друга. У каждого своё: положение, достаток, интересы... Стали чужими. А к чужому если не ненависть, то презрение.

Начало

Начало лета, июнь. Всё только входит в цветение, молодо, не заматерело в зное.

Зацветают ранетки. Много белых бутончиков, а те, что уже распустились, сияют ослепи-

тельной снежностью своих пяти лепестков, в середине которых победоносно топорщатся жёлтые усики с коричневыми наконечниками.

Зелёные ветки в синеве, смеясь, увёртываются от молодого ветра, ошалевшего от зацветающей земной плоти.

И только Святой в седине снегов по-старчески молчалив и равнодушен.

Огонёк

Как много на свете горя!

Мальчуган в рваной куртке, в больших, видимо, подобранных на свалке ботинках, прижимает к сердцу щенка. Кажется: вцепились в последней надежде две нежности и греют друг друга невидимым теплом.

Больно и горько. И радостно, радостно от того, что в чёрной бездне одиночества засветился – надолго ли? – ещё один огонёк взаимной любви.

Программа

Жить, наслаждаясь сегодняшним днём, глубоко дыша и смотря в мир «широко открытыми глазами». Быть свободным, независимым, уважать себя. Делать своё дело. Довольствоваться малым, принимая мир таким, каков он есть. Надеяться лишь на Бога и себя. Прощать.

Сколько несбыточных программ я сочинил за свою жизнь!

Моя родина

Усть-Баргузин... Милое Устье...

Летом – зелёное пламя тополей, посеребренных ветром; выбеленные дождями и солнцем широкие дороги, чуть горячие сыростью; тугие, как детские кулачки, облака и выцветшая синь.

Осенью – распахнутость далей, когда Святой* – вот, рядом, хочешь – коснись рукой. А ночью сияет снежной дорогой Млечный Путь, если разбежаться, то, пожалуй, можно и вскочить.

Пряной прелью пахнет листва, и горят огненными зонтиками гроздь рябин.

Зимой – взлетевшие до верхушек заборов сугробы, пухлые гирлянды проводов, тугой скрип снега и луна, заливающая жидкой голубизной пышные крыши.

Весной Устье – царство луж, огромных, больше напоминающих озёра, полыхание капелей, будто щедрое солнце льёт и льёт расплавленное серебро, парящая у забора земля, первая робкая травка, дым огородов – жгут ботву, мусор.

Милое Устье, седой старик, именуемый поэтом, – это тоже ты.

Вечереет. Но светится небо
То зеленым, то синим огнем.
Хлеб пекут, и от запаха хлеба
Теплой бабушкой кажется дом.

* Святой Нос – полуостров на Байкале.

Словно в детстве. Но детство далёко.
Где тот мальчик, кем был я тогда?
«Баба, бабушка, месяц...два рога,
Как у нашей коровы!» Звезда
На востоке сияет, лучится –
Одинокая – в небе ночном.
Сердце ноет, и снова не спится.
Черной тенью угрюмая птица
Пролетела. «Куда ты?» – «В Содом!»

Май

Стайками цыплят высыпались одуванчики.
Черемухи в белых пуховых шалях, а березки
сияют липкими язычками листочков.

В трещинах асфальта трава. Кажется: по ас-
фальту побежали зеленые ручейки. Воробей
– хозяйственный мужичок – с пухом в клюве
торопится домой, к воробьихе.

В синеве, высоко-высоко, парящие, как бе-
лоснежные паруса, чайки.

Над поселком стелется дым, и приятно пах-
нет горечью тлеющих в огородах куч.

А вечером в зеленоватом небе золотом пла-
вится звезда и ветки вычерчены черной тушью.

Ночью нежно поет ставень и горят синева-
тым пламенем уже теплые звезды.

Радуга

Погромыхивает. Зеркально сверкают мол-
нии. Душно. Сухо и пыльно.

Вдруг застучало, зазвенело по жести. Зашумело. Земля освежающе потемнела, засветился асфальт. Запахло горечью.

Лилово-золотистой трещиной затрепетала в невидимой стене молния, оглушающе лопнул гром, и с ликующим шипением ахнул на землю ливень. Задымились водным дымом крыши. Лужи как клочья бугристой кожи крокодилов.

Всё – одна сверкающая, громыхающая, шумящая, пахнувшая горечью дорог и освежающей сыростью зелени бездна. И что в ней я? Капля, повисшая в уютном уголке.

И вдруг стихло. Солнце разорвало тучи, и промытая до блеска синева хлынула на землю, затопив всё тихим сиянием.

А на горизонте огромно-сочным цветком расцвела радуга.

Рассвет

Это, видимо, мальчишка –
Но небесный – не земной –
Отложив на время книжку
И с мячом-луной подмышкой
Вышел в поле под горой.
Две берёзки как ворота
С перекладиною туч.
И забил! И сверху кто-то,
Тот, кому до всех забота,
Засмеялся: Да, могуч!

Главная книга

Написать книгу. О себе и для себя. Вновь прожить жизнь, но прожить только то, что притягивало, грело любовью, красотой, вос- торгом. А неудачи? совершенные подлости? грехи? Их куда? А-а...к черту! Разве нельзя хотя раз, пусть на листах, прожить светлую радостную жизнь, в которой всё удалось?

Может, это и есть главная книга каждого писателя?

Неужели так просто?

Лежу на теплом песке на берегу Байкала. То смотрю в небо, то закрываю глаза. Лежу, ни о чем не думая, как одна из крупинок этого золотистого песка.

Синева выцвела от солнца. Иногда в ней то хлопьями снега мелькнут чайки, то сажей – вороны.

Сухо шумит лес. Волна с негромким шипением наплзет на берег, быстро переберет камешки и вновь уползет в Байкал. От воды и леса веет сладковатой горечью. По ноге, щеко- ча, ползет муравей. Я дрыгаю ногой, и муравей летит кубарем.

Иногда лицо трогает ветер, он старается трогать осторожно, нежно, но я всё равно каждый раз притворяюсь, что сплю. Не хочется ни говорить, ни смотреть.

Тишина. Нет никого: ни поселка, где суетно живут люди и который совсем недалеко, ни

моих вечно тщеславных дум – никого! Только мое тело, легкий шум волн, ветра, только струи солнечного тепла да муравей. Ну, надо-едливый!

Неужели счастье – это когда на душе покойно, когда радостно в сердце, когда тело дремлет в тепле? Неужели так просто?

Некуда спешить

Мертвая женщина в красной шапочке на сером асфальте. Осколки лобового стекла раскатились, как бусы.

Затор. Машина ГАИ. Все злятся, торопятся. И только она спокойна, только ей некуда спешить.

А сегодня?

Засыпал норку черным дымным порохом и поджег. Короткое пламя с шипением выбросило разбухшего жука. Жук шевелил в агонии обгоревшими лапками.

А то поджигал кусок пластмассы. Горящие капли, чадя, падали на землю и, едко дымя, застывали. Изображая бомбардировщика, старался попасть в бегущих черных муравьев. Их было множество. Они жили в саду, в земле, и казались вражескими танками.

Это делал вполне милый мальчуган, насмотревшись в сельском клубе советских фильмов о войне.

Что бы он делал сегодня?

Судьба

Снилась широкая, похожая на озеро, река. Я переходил с конем брод. Шел почему-то не прямо, а почти вдоль. Мелкие волны неслышно теребили ноги. Узкой косой желтел противоположный берег.

На середине вода вдруг превратилась в весенний лед, рыхлый, игольчатый. С трудом перешел, попав в какой-то поселок.

Обнимаю коня, прижимаясь лицом к его родной морде. Необыкновенно хорошо, тепло, защищенно.

Захожу в магазин. Полки с вином. Сколько бутылок!

Выхожу – коня нет. Долго ищу. Какие-то сараи, бабы, живность. Брожу по улицам в надежде, что услышу ржание. Но тихо, серо, одиноко.

Конь – судьба, которую потерял? Но можно ли потерять судьбу? Какая ни есть, она только моя! Но, может, и от меня многое зависит? Не потому ли так подробно помнится этот давний сон?

Вера

Вера в счастливую звезду, подспудно, приглушенно, но живет во мне с самого детства.

Помню, при чтении своих, еще первых слабых, стихов душу до дрожи наполняло видение: я – известный русский поэт! В родном Устье мне памятник...цветы...музей...туристы...

Сегодня я улыбаюсь: «детская мечта милого мальчика, жаждущего быть поэтом». Снисходительно улыбаюсь и...по-прежнему верю!

А еще, с детства толстый, неуклюже-застенчивый, я верил, что буду подтянутым, с летящей походкой, буду всегда нацелен на результат, а значит и на победу, успех.

Глядя на меня, вы смеетесь. Но ведь вера уже сама по себе смысл и осуществление! Сколько раз она подхватывала меня на краю пропасти, утешала, направляла в нужную сторону!

И я всё больше прихожу к убеждению: пока человек верит, он человек!

Пласт

Река подмыла невысокий яр, илистый в основании, и мягко отпал целый пласт – всплеск, минутная муть, тишина.

Также отпал пласт жизни. Десять лет. Какой он был? Не важно, ведь закончился.

Еще душевная муть (что делать?), но уже тишина, принятие перемены.

А судьба, как река, катит и катит годы. Куда? К устью, конечно!

Голос

Иногда, ночью ли, днем, когда один или с кем-то, неважно, вдруг услышишь – не слухом, а всем существом – голос, зовущий тебя по имени. Внутренне вздрогнешь, оглянешься, заранее зная: нет никого!

Что это? Зачем? И почему звучит только имя «Константин»? Голос то тихий, даже нежный, то торжественно-строгий. Бог это? Или чья-то родная душа? А может, будущий, еще не встреченный, знакомец окликает из грядущего? Или это смерть?

Пришла, присела на дорожку и что-то задумалась, разглядывая мою грешную душу. Давно бы надо встать, а она всё сидит и сидит.

Разглядывая фотографию

Мне шесть лет. Задумчивое лицо. Чубчик. Этакий интеллигентный мужичок с ноготок.

В одной руке новогодний подарок, вторая прижата к брючкам. На мне красивый костюмчик, с воротничком, похожим на крылья бабочки. Три пуговички, большие, как монеты. Ботиночки так вычищены, что сияют даже на черно-белой фотографии.

За спиной елка, увешанная игрушками: домики, птицы, гроздья винограда, сосульки. Елка высокая, до самого потолка, детсадовская.

Мальчик сжал губы, пристально всматривается в меня: так вот я какой в пятьдесят лет! Во взгляде осуждение.

А я смотрю и по-отцовски думаю: какой ты маленький! Мне хочется прижать его к груди, потрепать по чубчику, взять на руки и подкинуть, если не до неба, то хотя бы до елочной звезды.

Взлетай, мальчик, у тебя впереди вся жизнь!

Завороженный

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Читаешь – и на тебя словно дышит июльский зной, сушит губы. Блеск полыхающей, как зеркало, реки слепит глаза. Пьянеешь, обоня медовый запах полей.

Кажется: уже само стихотворение превращается в белый зной, искрящуюся реку, белеющие поля. Вздрагиваешь, стряхивая наваждение. Да нет, это просто белый лист книги с темными точками букв.

Но почему? В чем сила, заставляющая забыть реальность? В красоте, сотворенной поэтом, красоте слова, такой же вечной и прекрасной, как сама природа. «Пройдут века», но эта красота будет такой же завораживающе прекрасной!

Весенним вечером

Еще холодно. Дороги за день подтаивают, но к вечеру превращаются в серые полосы льда, и, когда в синем небе начинают сверкать острые звезды, лед на дорогах лопается пугающе звонко, словно не дороги – реки.

Вздрагиваешь и прибавляешь шаг. И это весна?! Скорее домой! Дома гудит печка, пахнет лепешками, душистым дымком и пахучим чаем. Домой, домой!

Но сосульки как струны, и кажется: не сияние, а неслышная голубоватая мелодия разносится по поселку и будит деревья, травы, птиц. И зачем-то стоишь и стоишь у крыльца.

Кладбищенская тишина

Тяжело сияет луна. На стене тень от моей головы. Я ворочаюсь, прячусь от тягостного света под одеяло. Душно. Не могу уснуть.

Смотрю на тень. Лица не различить, но я знаю: я похудел на лицо, ясные глаза по-стариковски пронзительны и печальны.

Окно искрится морозной синью. За стеклами черные штрихи веток. И тишина, тишина. Кладбищенская.

Что старость? – думаю я. – Старость – это желание уснуть, по возможности, навсегда!

Шепчет лишь дым

Я только что встал, смотрю в окно. На раметке одинокий листик да похожая на подушку сорока.

Как молчаливо зимнее утро! Чудится, шепчет лишь дым, сизыми клубами вздымающийся в небеса.

Светает. В серой синеве мохнатые пятна ворон.

Снег еще темен, но сквозь темь пробивается молчащая матовость.

Месяц узок, золотист и почему-то напоминает июль, пляж, девчат.

Очищение

В жидкой стали стремительно проносятся льдинки. На одной живой крапинкой суетится трясогузка. Может, нашла что-то? Мелькнула парочка уток и исчезла.

Вода тяжелая, словно мертвая. И даль тяжелая. Но тяжесть и мертвенность простора обманчивы. Вон, на горизонте, вздымаются пепельные космы. Скоро, скоро...

И налетел ветер, содрал с земли пыль, мусор, взметнул ввысь черный пакет. Вон еще один... Нет, это комом несется ворона.

На бугор вскарабкались три бомжеватые девки, разлохмаченные, грязные, и ветер, шумно выдохнув, смел их в серую муть.

Чистое небо, чистая река, и земля первозданная в своей пустынности.

Чиновник

Как быстро забывается чиновник! Только что солидно сидел в кресле президиума, был на слуху и, казалось, на века, и нет его. Забыт и не нужен.

Если случайно встретишь, не узнаешь. Маленький, сжавшийся в лысеющую точку, бежит, как комнатная собачка, по своим маленьким делишкам.

Поздороваешься – он сначала удивится до испуга: вдруг обругают! Затем заискивающе заулыбается и вмиг исчезнет из памяти. Уже навсегда.

Повисшая Россия

Шел домой, устало смотря по сторонам.

Дым безвольно выползает из трубы и сразу исчезает в вечереющей бездне. Как моя душа... Красиво, но глупо. Хотя вся жизнь – глупость, перемешанная с красотой.

Два бомжа. Темные, мохнатые существа обдали запахом затхлой гнили, дыма и еще живой вони. Уже привычно.

Солнце закатывается за церковь. Кажется: красная, покрытая червонным золотом луковка оторвалась, но до земли не долетела – повисла в зеленоватом просторе.

Неужели Россия, как эта луковка, виснет в своем падении?

Молодая семья

Мусорные баки. Мухи и вонь. Семья бомжей. Он нашел белые босоножки. Она, сев на пустой ящик, примеряет. Рядом маленькая дочка, грязная со светлыми волосиками, прыгает на одной ножке, радуясь за маму.

На всякий случай

Ветер дергает ветки ранеток, и ранетки, пытаясь вырваться, мотают зелеными головами. Но ветер не отпускает, шумит и, изловчившись, срывает плод. Тугая плоть, сверкнув угольком, гулко стучает в ставень.

Кот, выглядывающий зеленоватых птичек, вздрагивает и удаляется от греха подальше.

Ветер, напугав кота, возликовал, загудел и от радости насыпал у крыльца россыпь рябиновых ягод, насыпал и, забавляясь, начал катать по земле, словно красные шарики.

Но на крыльцо вышла бабка, всплеснула руками:

– Ну, дитя! Всю ограду завалил! Опять mesti... – и взялась за метлу.

Ветер испуганно закружился по ограде, поспешно сметая в углы листья и ягоды в кучи, а затем забежал за сарай. На всякий случай.

Бабка не кот, её не напугаешь. К тому же метла!

А может?

Давно мечтаю посидеть в милых, родных местах: на реке, на том берегу, где желтый песок, как коса, отрезал литые воды Баргузина от трав болота; на Шанталыке, на глухих магзенах, среди глинисто-стылой воды, серых остовов сосен; на Сплаву, пустом, голом, где только память и подскажет исчезнувшие постройки; на Братях, на самой вершине, откуда видна россыпь домов и ширь Баргузинского залива, похожего на синее зеркало, брошенное с небес на землю.

Сидеть и смотреть...даже в ограде, ведь родной поселок вот он! Сидеть, прислушиваясь, как ветер перелистывает мою жизнь. Сидеть, ни о чем не думая, просто вспоминая.

Сел на забор воробей, довольный, сытый.
Блестит черной бусинкой глаз.

Ранетка – большой зеленый шар. Если ветер
дунет сильнее, может улететь туда, в синеву,
где белое облако.

Сидеть и смотреть...Я уже смотрю, в воо-
бражении.

А может, это желание – предвестие смерти?

Летнее утро

Тает льдинкой бело-круглая луна. Пепель-
ные остатки тумана растворяются в тяжелова-
то-синеющем, как вода, воздухе.

Солнце! Засияли рябиновые лапки, и по за-
бору мягко заскользила двойником моя тень.

Раскинул руки, стал огромным ковшом,
принимающим мир. Смотрю, слушаю, обо-
няю... Хорошо!

Летит цапля, высоко-высоко, и роняет, как
колокол, печальный крик. Пирамиды тополей
светло-зеленые, росно-сияющие. Словно за
стеклянной стеной, слышен отдаленно-глухой
лай собак.

Теплица в серебристой росе. Деревянный
тротуарчик потемнел, потемнела и горящая
тяжелой сыростью земля. На ней бороздки от
дождевых червяков. А вон один еще не заполз
под доски, остро тянется малиновой спицей.

На грядках вдавленные следы кошек, буд-
то наполнены остатком ночи, отчего кажется:
следы живые и бредут сами по себе.

Но выше солнце. Громче заливается воробей. Ветер невидимо потрепал листву, стукнул ставнем и взметнул бабочку, похожую на язычок пламени.

Вот и луна растаяла. Синь.

Снегири и Котя

Серые, словно мохеровые, клубочки. Такие уютные, так бы трогал и трогал! Черная шапочка, черный хвостик. Неспешно выминают семена из почек сирени.

А я смотрю, смотрю...И уже не я, а тот мальчик, которого звали в детстве Котей...котеночком. Нетерпеливо сопит, жметя к окну – стекло запотеваает, словно покрываясь туманом. Трет лапкой.

Снегири недовольно косятся. Кто это? Что за зверюшка? Белый, глазастый. Сколько их развелось! Целый поселок... Но ничего – за стеклом. А в лесу тихо. Корма вот только нет.

Смеркается. Сиреневые дымы неслышно скребут закат. Стынут, растворяясь в наползающей темноте, ветки. Еще мгновение – ни Коти, ни снегирей.

Детство – это маленькая жизнь.
Мир он вот – коровкой на ладони.
Головой потряхивают кони
От слепней, и зной струится ввысь.
Детство – это маленькая жизнь.

Дальше будет, говорят, большая,
Жаль, уже неяркая такая,
И не зной, а холод, что держись.
Но сегодня бродят тихо кони,
Теплый свет ложится на ладони.
Детство, детство, дольше задержись!

А дождь стучит

Зонт сухо шумит, а когда пробегаешь под тополями, глухие редкие стуки. Это крупные капли, сорвавшиеся с листьев. Словно дождь костяшками пальцев постукивает по зонту: кто там?

Но что-то не хочется выглядывать. Смотришь под ноги, обходя лужи, по ним бегут пухлые пузыри.

А дождь стучит, стучит, дышит под зонт прохладной сыростью и, недовольный, гонит по земле мутные потоки.

Страх

Как много людей, которых я хорошо знал, а с некоторыми был связан – работой, интересами, обстоятельствами – умерли! Их больше нет.

Вот и я когда-нибудь выпаду из мира, исчезну, и большинство даже не заметит, лишь потом:

– Неужели? Когда?

– Да два года тому назад!

И, только бывая на кладбище, зримо видишь: действительно, переселились.

Странно: вон, за дорогой, совсем рядом, поселок, люди, собаки, жизнь. А здесь никого, тихо-тихо, словно на дне, хотя позванивают венки, орут вороны, дятел стучит. Шумно пробежал по стволу поползень. И всё равно тихо-тихо. Время остановилось, застыло. Кладбище – лед времени.

Стою. Уже уставший сердцем, седой. Рука, лежащая на оградке, серая, морщинистая, старческая.

«Отец вот... Там дед, бабушка...»

Чуть доносится из поселка гул машин, голоса. А здесь только ветер колюче шипит в соснах. И вдруг охватывает такой страх: задержишься на мгновение и не выйдешь – и бежишь прочь, как в детстве из темноты.

И только перейдя дорогу, облегченно вздыхаешь.

Старик, зачем ты на нее смотришь?

Луна – золотистый свет моей юности – по-прежнему будит воспоминания.

Апрель. Ночная синева уже бархатная, но лед на дороге и сосульки на крышах сияют холодно, неприступно. И так же неприступна эта ширококостная, пахнущая домашним теплом девушка. Только лучатся глаза да влажно сияют алые губы. А луна разлеглась на крыше, как на широкой кровати, и тихо смеется.

А это уже июль. Ночь светла. Луна совершенно круглая, спелая, душистая. Ну, это, конечно, кажется! Сонно, душно. Баргузин дышит теплой сыростью, пахнет прибрежными травами и свежей рыбой. И бежит, золотясь, по темной воде лунная дорожка, такая плотная – ступай и иди!

Сентябрь. Стою в камышах. Темнеет. Проклюнулись первые синеватые звездочки. «Нет! Уток уже не будет!» – говорю я себе и только выхожу из зарослей – на фоне большой, как зеркало, луны силуэт кряквы.

Ахает изумленно ружье, оранжевый сноп пламени летит в темную бездну – и тишина. Лишь с сухим шорохом задвигаются за мной камыши. И вдруг тяжелый удар о воду. Попал! Попал! Тороплюсь на шум падения. А вот и она, огромно темнеет, чуть подрагивает, беру – тяжелая, теплая.

«А-га-га!» – кричу я широколицей и такой же довольной, как я, луне. И сыплются пылающим фейерверком белые осенние звезды.

Январь. Не мороз – острые звезды больно колют лицо. Снег лопается под ногами, словно дорога усыпана лампочками. И не снежинки искрятся – осколки. Заборы мохнато-черны, их почти придавило сугробами. Дома спят, и неживая тишина легла на поселок.

Луна, словно в саване, съежилась, замолчала. Старик, зачем ты на нее смотришь?

На кладбище тихо. Ворона
Вдруг каркнет, и дрожь, как волна,
По телу. Да ветер со звоном
Промчится. И вновь тишина.
Прислушаюсь – поползень милый,
Шумя, пробежал по сосне.
И милые сердцу могилы,
В уютном покоятся сне.
Вот дедушка, бабушка...Блики
От ветра бегут по сосне.
И ваши не лица, а лики
Я вижу в небесном окне.
Машу вам... Вы видите внука?
Уже он старик стариком.
И сердце заняло от муки,
И в горле от горечи ком.

Пусть будет так!

Как постарели те, с кем учился! Сморщенные, как кулачки, темные лица, сторбленные по-старушечьи фигуры. Встретишь – не узнаешь, особенно женщин. А многие уже умерли.

Лишь на фотографиях всё те же мальчики и девочки, умненькие и глупенькие, красивые и лопоухие, но равные в детстве, школьных интересов, эпохе, в которой все жили одинаково, одинаково одевались и ели.

Да мы ли это? Кажется, это были совсем другие люди, жизнь которых закончилась с окончанием школы. И разом рассыпались, как

дробь по полу. Ни собрать, ни встретиться. Да и не надо! Разные, а в разности враждебные, живущие так различно, что, встретившись, хочется поскорее расстаться.

Пусть милое детство, школа останутся в памяти, где все мы равны, где будущее грезится ярким праздником, который будет длиться всю жизнь! Пусть будет так!

Следы ночи

Светает, но небеса ещё сизые, молчаливые, не проснулись.

На инистых досках парящие чёрные звёзды. Знаю, что прошёл соседский кот. Но хочется верить, что это следы ночи.

Остановка

Байкал цвета стали. Волны зло, с размаху, бьют в берег. Ветер с ледяным свистом шумит в холодной хвое и треплет на ольхе разноцветные ленточки, словно духи недовольны, что люди замусорили окурками, бутылками, бумагой святое место.

Дорога тускло блестит серым льдом. Сколько она повидала? Сколько раз и я ездил по ней? Сколько на этом месте останавливался, встречаясь с близкими и не очень людьми! Целая жизнь. Многие уже никогда по ней не проедут.

Спускаюсь к Байкалу. Сухо хрустит галька. До лица долетают холодные брызги. Вдали

жгуче-снежной громадой дыбится Святой Нос. Всё выше, выше, или это кажется, как всегда бывает осенью, когда распахиваются до самого горизонта дали и всё делается яснее, выпуклее, ближе?

Сажусь на корточки, протягиваю к воде руку – волна, словно оскалившийся зверь, цапает её мокрым холодом. Отдёргиваю.

Пахнет сырым песком, мокрой галькой и ещё чем-то первозданно-диким, не имеющим имени.

За спиной тяжело дремлет автобус, переговариваются и курят пассажиры, а впереди – ширь, мощь, вечность. Что мы перед ней? Не более, чем эта взбитая седая пена. Налетел порыв ветра – и нет её.

Сигналит водитель. Садимся, сжимаясь от холода и потирая руки. Мелькнула за стеклом водная сталь, мелькнуло разноцветье ленточек, вновь мохнатой стеной поплыл мимо лес. Я задремал и сквозь дрему, сквозь шум колёс всё ещё слышал гул, хлопанье волн, потрескивание на ветру сосен. Или это стучало сердце?

Ты не долговечен

Блёстки яркие и крупные, как монетки. Так и хочется собрать! А они всё сыплются и сыплются из голубой тишины, чуть шурша и позванивая на солнце.

Остановился. Стою. Смотрю. К счастью, до рога пустынна. Никто не оглянется, не задаст,

пусть молча, но явно, вопрос: Что это дурень остановился? Пьяный, поди...

Вытянул руку. Сразу несколько монеток сыпнуло на варезку. Малиново-голубые, зелёные, вспыхивают солнечно, жарко. Но в карман не сунешь.

Какой всё-таки человек собственник, крохобор! Даже красоту хочет по привычке упрятать в кошелёк! Хапает, тщеславится...А по сути не долговечнее вот этой блёстки!

Любуйся, восторгайся, дыши полной грудью и впитывай, человеке, этот чудесный мир! Ты не долговечен.

Листик

Снега, пушистые, пышные, до макушек заборов. Не дома – терема. И небеса тоже снежные, мохнатые.

На ранетке, белой от снега, сидят сороки. Оттого, что белогрудые и нахохлились, похожи на подушечки.

И только одинокий листик золотым зайчиком трепещет на ветке. И потому, что всё вокруг бело, снежно и оцепенело в белёсой тишине, он один кажется живым и тёплым.

«Доживёшь...»

Седая голова трясётся, на серой сморщенной коже слёзы:

– Вы уж помогите! Умирать скоро...дайте машину!

Она и не нужна ему – еле двигается, не то что водить. Но «детки» взяли за горло: «Добивайся! Дашь доверенность. А мы тебя, дед, уж повозим, куда скажешь!»

И он ходит, ходит...в собес, к депутатам, к местному начальству. Пахнет от него едким старческим потом, затхлой одеждой, гнилыми зубами. И все, к кому он ходит, чтобы поскорее отделаться, говорят:

– Потерпи! Скоро дадут.

– Да не доживу я до срока!

– Доживешь! Вон какой ещё крепкий. Следующий!

– Ну, спасибо, утешили, дали надежду! – и, выставив вперёд руку (без того слепые глаза от слёз совсем ничего не видят) идёт к двери, долго нашаривает ручку.

– Да откройте вы ему, наконец-то! – уже не скрывая злости кричит секретарше начальник.

Зима

Стёкла в розовых перьях, в узорах, словно зима огромной белой птицей роняет с небес морозные перья и пух.

Смеркается. Холодный закат тонет за белёсый горизонт. Матово светится снег, кажется: он видит белые сны.

Дом пуст. Холодно. Надо бы затопить печку, да лень. Лучше залезть под тяжёлое одеяло, согреться и уснуть. Хорошо бы до самой весны!

Поздняя осень

Верхушки ранеток с догорающими, как солнечные зайчики, редкими листьями ещё увешаны багрово-серыми шариками. На ветке маленькой подушечкой нахохлилась сорока.

Господи! Как я люблю такую погоду! Сухую серость веток и заборов, тихую белизну снегов, сизое небо, в котором мелькают пушистые стайки свиристелей и лохматые шары ворон.

Чёрный кот осторожно опускает в снег лапу. Усы и хвост нервно подрагивают.

Иногда на его мохнатую морду падают снежинки, тогда кот звереет и быстро-быстро начинает ловить этих белых мышей.

Ставень стукнет, пес залает.

Лист багряный упадет.

В пыльной темноте сарая

В саях дремлет рыжий кот.

Выйдешь – пряно пахнет прелью,

Ветер холодит лицо.

И рябину свиристели

Сыплют прямо на крыльцо.

Цивилизации и сосульки

Цивилизации как сосульки. Замерзает первая капля, вторая... Сосулька растёт. Так и поколения. Уходит, оставаясь в памяти одно, другое... Растут знания, культура, опыт, мощь. Цивилизация матереет, разбухает и, как со-

сулька, падает. Но осколками ещё долго пользуются. Затем растворяются и они.

Что создаёт сосульку? Солнце и снег. Несовместимые начала. Так и цивилизацию – нечто Божественное и людской эгоизм. А так как начала несовместимы, то создание в том и другом случае хрупко. Вечно только начало, но начало – родина разрушений.

Душа, куда ты летишь?

В Римской империи человека заживо замуровывали в кирпичных нишах. От чёрного ужаса умирания он сходил с ума, умирая нечеловеком.

Умереть человеком, то есть умереть без истерики, достойно – последний мазок жизни. Без него размазанный холст судьбы останется несбывшейся заготовкой Творца.

Не потому ли так возвышает человека удачная смерть?! В этом парадоксе – удачная смерть – маячит разгадка Вечной Тайны. Жизнь не заканчивается смертью, просто начинается новый, неведомый нам виток. Бессмертная душа, куда ты летишь?

Почему уходят таланты?

Почему уходят таланты, уходят так рано и примитивно (спиваются, погибают в пьяной ссоре, стреляются, вешаются)? Почему свет, исходящий от их стихов, их не спасает? Почему творец безволен и ленив в быту?

Может, творец не творит себя, а лишь отражает нечто, приходящее извне? Может, поэт не творец, а отражатель, карманное зеркальце то Бога, то чёрта, то...?

Зеркальце не свет. Осознание этого и ломает. Жизнь проходит в пьяни, суете, тщеславии – и душа разлетается вдребезги.

И только в осколки-стихи ещё долго всматривается вечно греховное и не понимающее себя человечество.

Душа – корзина

Берёзы, редкие сосны, болотина. И вдруг в белесом молчании огромно белый гриб! Но отломишь край толстой шляпки – гриб-то зелёный и совсем не зимний, а летний и пахнет солнцем и свежей зеленью.

Жаль, в корзину не положишь, хотя душа чем не корзина – положил ведь!

А может, и не было ничего?

Утрами, как молоко, стынет морозная дымка, и на стёклах окон кроваво блестят ребристые скаты ледяных «гор».

Вспоминается детство. Я, пухлый малыш, грею на плите пятаки и прикладываю их к обледенелым стёклам. Чётко отпечатанный герб с колосьями, серпом и молотом застывает, кажется, навечно. Тёплая бабушка вынимает из русской печи горячие калачи.

Как мгновенно это исчезло! Ни страны, ни бабушки, ни малыша. Только ледяной блеск стёкол. А может, и не было ничего?

Прощай, мальчик!

И виделось мне, мальчику с зелёным томиком Есенина: я, знаменитый поэт, в модном плаще, элегантный, стою у бабушкиного дома, счастливый и великодушный.

И сбылось видение детства. Стою. Но нет радости, а только привычное одиночество, серое и печальное, как это небо, заборы, голые тополя. Я один, совсем один, даже стихи давно разбредлись по читателям.

Я курю дорогую сигарету и, несмотря на знаменитость, вдруг осознаю, что, в сущности, никому не нужен, как этот брошенный окурок.

Из ворот выходит мальчик с мечом-палкой и внимательно смотрит на меня, словно попытается разглядеть будущее.

Я печально улыбаюсь ему и ухожу в переулок, как в небытие.

Прощай, мальчик!

А вдруг сейчас как...

Высоко-высоко кругами летает коршун. А внизу – то зелёное, то серебряное пламя топей, выбеленная дождями и солнцем дорога, дома, сонные в зное, словно сугробики, белеют у серого, заросшего высокой крапивой

забора курицы, светловолосый мальчуган гоняет футбольный мяч. И все они, занимаясь своим делом, не забывают поглядывать вверх, где кружит и кружит молчаливый коршун. А вдруг сейчас как... Да нет, кружит.

Сколько прошло лет! Я давно седой, но память по-прежнему, лишь стоит взглянуть в небо, ищет глазами светловолосого мальчугана коршуна. А вдруг сейчас как...

*Господи, мне нечего сказать в свое
оправдание!*

На востоке сквозь тучки веер молодых лучей. Нечто Божественное...

Голосит петух. Корова мычит влажно, как женщина. А в зеленом облаке тополя нескончаемый звон воробьиных шариков.

Дорога, умытая ночным дождем, сияет, как ребенок. И гуляет по улице запах только что испеченных калачей.

И вдруг вспомнился такой же июньский рассвет. Но город, грязный подъезд с застарелой вонью мочи, окурков, разлитого пива.

Вот за этой дверью жила Юля, мать-одиночка, вечно опухшая, с почерневшим от запоев лицом. Она умерла или её задушили собутыльники, никто не знает, да никто и не разбирался. Сестра, также спившаяся, умерла ещё раньше. Исчезли и дети, мальчик, похожий повадками на заматеревшего уголовни-

ка, уже пьющий, и девочка с тупеньким лицом животного, пробуждающаяся только при виде еды.

Господи, мне нечего сказать в свое оправдание!

На пароме

Пустая река. Рыжие травы. Седой поэт на пароме.

Шлепают в металлический борт ладошками волны. Как в детстве... Поселок отдаляется. Кто-то, прощаясь, одиноко машет рукой. Кажется, уплывает в далёкое-далёкое прошлое не поселок, а жизнь.

– Куда?

– На тот берег...

Одинокий чирок

Жмутся к воде рыжие травы. Пусто и холодно. Лишь одинокий чирок точкой исчезает в свинцовом просторе, там, где Байкал когтисто наползает на Лопатки*.

Слепящие секунды счастья

С раннего детства меня мучили зубы. Бугрился тугой, как инистый стожок, флюс.

Раз, промыв в одеколоне иголку, я проткнул скрипнувшую кожу – белая струйка гноя брызнула на зеркало, затем, облегчаясь, тукая,

* Лопатки – устье реки Баргузин.

забила пахнувшим потоком с розоватой струйкой крови.

Бабушка повела к зубному, пообещав купить фонарик. Фонарик, матово сияющий, удобно плоский, с большой, как ладонь, батарейкой, с кругленькой, словно капля, лампочкой уже давно вожаделенно манил меня.

Большая, отчего казалась теплой, тётянка в ослепительно белом халате завела в кабинет. Было обреченно страшно.

Я не помню, как вырвали зуб. Не помню, как покупали фонарик. Наверное, наигравшись с ним в темноте, я разобрал его и вскоре потерял.

Но он по-прежнему мигает в потемках души, выхватывая на мгновение слепящие секунды счастья.

Скорее бы!

Листва заматерела. Тополя бугрятся зеленой мощью. Солнце слепит. Жарко. И уже маячит на горизонте мой отпуск.

Скоро, совсем скоро отдохновение от суеты и повседневных проблем, любимое творчество, милая рыбалка.

А чуть позже утиная охота на Шанталыке, когда из созревающих звездами небес сыплются темно-мохнатыми шарами тяжелые криквы. Сухо лопается выстрел, и утка рушится в траву.

А в начале октября охота на рябчиков. Бредешь, словно в золотистом потоке, по листьям.

Ветер шумит в вершинах сосен. Но слышишь не его, а пугливый топот убегающего рябчика. Мелькнула острая головка, а вон и сам. Ахает на весь лес ружье, и пепельно-серые перья виснут на ветках ольхи невесомо и печально.

И над всем этим – днем, когда бодрствуешь, и ночью во сне – незримая дымка воспоминаний о детстве и юности – золотом веке каждого человека.

Скорее бы!

Присел на дорожку

Я словно присел на дорожку, последнюю. Сижу, вглядываюсь уже не в мир, в себя, потому что мир давно во мне. Сижу, вспоминаю, вернее, не противлюсь тем картинам, лицам, событиям, которые всплывают со дна памяти.

А дальше? Каков он – тот мир? Душа, как ребенок, присела на дорожку и таращит глаза, испуганно, удивленно, жадно, на прошлое и на то, что называется завораживающим словом «вечность».

Август

Ровная теплынь. Сочная зелень и тугие облака. Синева упруга. Кисти рябин тяжелеют, на них уже легкий румянец. Головки пижмы, как маленькие солнышки, светят так ярко, что видны издалека. Ватаги иван-чая высыпались к дорогам и победоносно качают малиновыми киверами.

Август – воистину величавый месяц: всё вошло в полную силу, всё сочно. Каждый боровик как цезарь. Кланяешься ему, срезаешь, и чудится: «Император должен умирать стоя!» Кто это – римский император Тит Флавий Веспасиан или боровик? Какая разница? Величавое могущество равняет боровика с императором.

А после дождя всё матереет первозданной свежестью, тяжело сияет на солнце. Луги как озёра. В них плавают и купаются розовые чайки. «Рыбу ловят! Ха-ха-ха!» – хохочет веселый мальчуган, пытаюсь спугнуть чаек, но лужа огромна, глубока, дышит морской свежестью, чайки большие, а мальчуган мал и весел. Чайки гортанно орут ему что-то непонятное, но озорное. И лужа, и чайки, и мальчуган и даже смех сияют и слепят.

Глядишь на них, невольно улыбаясь, и думаешь: как еще далеко до зимы! Еще будет бабье лето с богородицыной пряжей на полях и болотах, сбор урожая: картошки, свеклы, моркови, капусты; будет ягодная и ореховая страда, будет разрывать темнеющую синеву свист уток. Ах, как ахнет выстрел! Утка тяжелым комом рухнет в траву – фонтан брызг – затихла. Будет гулко стучать по мерзлой листве убегающий рябчик.

Да, зима настанет, холода заморозят даже звезды, но сегодня глубокой ночью небо полыхает такой роскошной слепящей россыпью звезд,

сочных и спелых, дух захватывает, и, смеясь над собой, думаешь: это в раю созрели божьи яблоки. Вот одно упало. Загадай желание – и мир твой!

Поощряя друг друга

Я вставал рано, в пять часов. Был август, шли морозящие дожди. Капли стучали по запотевшим стеклам, сизыми струйками стекали вниз. Когда начинало светать, всё окно покрывалось серебристыми чешуйками капель. Казалось, там, в уходящей ночи, возилась в листве рябин и берез большая рыба.

Мохнато-темное небо с набрякшими дождем тучами пропускало рассвет медленно и неохотно. Сначала небо из темного делалось тяжело-сизым, и начинали нехотя проступать черные контуры домов и пирамиды тополей. Затем обычно выбегал прятавшийся всю ночь ветер и будил дом и деревья, стуча ставнями и шумя мокрой листвой.

Спохватившись, начинали петть петухи, взлаивать собаки, где-то на краю поселка, у реки, заржал конь.

Я выходил в ограду. Тускло светились лужи. Прохлада влажными ладонями брала мое лицо и дышала чуть горьковатой свежестью черных заборов, поленниц и отяжелевшей от дождя листвы.

Над самыми домами плыли серо-дымные тучки. Голодная чайка темным комом сидела на столбе и гортанно орала.

Я закуривал. Дым сразу растворялся в ветках рябины. На ней уже покраснели кисти. Под крышей дождь выбил лунки, и в них лениво падали крупные капли, булькали.

Свет всё смелее заливал землю. Вот уже видно, как анютины глазки, фиолетовые и бело-сиреневые, распахнуто смотрят на меня, на лужу, по которой плывет на желтом рябиновом листе черный муравей, так уставший за ночь, что даже не шевелит усиками.

А вот и первые лучи золотистыми спицами упали сначала на лес за рекой, сказочно быстро связав из него светло-зеленый свитер, затем на чайку, которая из темной сделалась розовой, потом на рябину. Когда на ней загорелись алые кисти, я зашел в дом. Шел седьмой час.

С утра я пишу. Это самое благодатное для творчества время. Словно рождение нового дня побуждает к рождению нового рассказа. В доме тихо. Все спят. И только я, да капли, да еще ветер и рассвет заняты своим делом. Мы не мешаем друг другу, лишь иногда поглядываем, чем занят каждый, но не из любопытства, а поощряя к труду.

Сложено на славу!

Светает. Догорает звезда. Свежо, росно. Поленицы черны. Кажется: они сложены из прохладной тишины. Так и видится старушканочь, неслышно складывающая поленья. Положит полено и слушает, все ли уснули: птицы,

люди, собаки? Положит и смотрит, нет ли где в окне огонька? Да нет, спят, и снова складывает.

Я подошел к поленнице, потрогал влажную черноту. Сложено на славу!

Ботва

В огород забрел ветерок, побродил по ме-
жам, пошевелил ботву, стряхнул с рябин ка-
пли и ушел дальше.

Над огородом плыли туманно-молочные
тучки, серые и синеватые. Одна, сизая, отяже-
левшая, брызнула, словно из детской лейки,
дождем. Дождик сообщил ботве последние
новости: скоро осень, утрами будет прохладно,
возможно, утренники.

Ботва испуганно качала мягкими листьями,
ахала, удивлялась, ведь она такая еще зеленая
и шелковистая! Дождик пошептал, пошептал
и тоже ушел.

Но прилетела сорока, села на забор, закричала,
как отдираемая лучина: «Уберут! Уберут! Огород
мой!» Махнула хвостом-опахалом и улетела.

На крик сороки пришел кот. Понюхал место,
где она сидела, нервно подергал усами: «Мя-
ярзавка!» Спрыгнул, прошел по меже, зорко
поглядывая по сторонам: нет ли где птичек?
Завтракать пора! И тоже ушел.

Ботва замерла, думала: действительно, ско-
ро сентябрь. Холода позолотят мою шевелю-
ру. Ну ничего, клубни почти дозрели, вон как
землю распирают!

Жемчужинки

Дождик. На деревянном тротуарчике зеркально светятся лужи. Заборы и поленницы черны. Молчит отяжелевшая листва.

Листочки, как детские ладошки, осторожно держат матовые жемчужинки – капли дождя. В жемчужинках отражается серое небо.

Ночь

Пугающе тихо, пасмурно, влажно. Тишина кажется мохнатой. Её можно потрогать, но не стоит – тишина ведь! Луна холодным золотом плавится в темных тучах.

Тепло и сладковато пахнет ночная фиалка. Запах такой плотный, что незримо видишь, как он пробирается по ограде. Вот дошел до крыльца, вот до ворот и на улицу.

Пес, от одиночества лающий на ночные шорохи, затих. Сейчас он и ночная фиалка обнюхивают друг друга, знакомятся. Слышно, как пес застучал хвостом. Понравилась.

Муки

Во сне сочинил хорошие стихи. А вдруг забуду? Начал учить наизусть, но строчки путались, рождались новые.

Нет, так не запомнишь! А что если наговорить на диктофон? Но как во сне наговоришь? Невозможно! Мучительно думал, как быть, и проснулся от напряжения.

Счастлив я!

«...моя душа, Вергилий, не моя и не твоя». Не моя и не твоя – она дар Божий, несущая в мир его частичку. Верю в это, ибо приемлет она весь мир, ликуя в любви и содрогаясь в муках от содеянных грехов. Суть её – не получение знаний, а узнавание давно знакомого.

Душа как дитя, попавшее в дом, в котором уже жила. Ходит по комнатам, всматривается, трогает, вспоминает запахи, звуки.

Месяц, годы – и вот уже она хозяйин в доме, начинает облагораживать, обустривать его, выходит за пределы, в мир, ведь это всё её. И растёт, растёт в любви и печали.

Но наступает мгновение, когда, переполнившись земными радостями и горестями, знанием и сомнением, верой и отчаянием, начинает тянуться в небо, чтобы вновь слиться в единое целое, именуемое Богом, вечной любовью и прощением.

Не потому ли, бывая на кладбище, всматриваясь в скорбные лица, слыша тихое позванивание венков, вдруг понимаешь: там, в земле, нет покойников, там, кроме костей и сгнивших досок, пустота. Все они живы, ибо душа бессмертна, она не принадлежит земным телам.

И не потому ли в минуту духовного прозрения один из самых печальных и поэтических русских творцов выдохнул из глубины души эти изумительные слова:

Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер...Счастлив я,
Что моя душа, Вергилий,
Не моя и не твоя.

И только небо не загадили

Берег речушки завален бутылками из-под пива, чаще пузатой «Охотой», дешевой и крепкой, пустыми консервными банками, ключьями газет, коробками от сигарет, окурками и черными остатками кострищ. Попадают и презервативы. Двуногие совмещают жратву с сексом – два удовольствия, которые ими движут с пещерных времен.

И только небо не загажено. Оно по-прежнему первозданно чисто, ясно, свежо. В солнечной синеве, словно из весеннего талого снега, сияют облака. Летят белоснежные чайки, коршун плавно машет широкими крыльями, не летит – плывет в небесной лазури. Пронеслась стайка крякв, озабоченно-хлопотливых, стремительных.

А вдалеке, подальше от людей, светится светлой зеленью освеженный дождем лес и ворохами сирени вздымаются горы.

Утро на Шанталыке

В траве грузный шум, бульканье и недовольное кряканье. А вот и сами утки – целая стайка – выплыли и, повернув головы к траве, ждут. Из мокрых трав показывается голова пса.

Голова плывет к уткам. Утки, подразнивая, не взлетают. Отплывут – ждут. Пес азартно гребет всеми четырьмя лапами, вот-вот схватит мерзавок, но кряквы вновь отплывают. Остановились, по-бабьи повернув к псу длинные шеи. Пес, повизгивая от нетерпения, гребет и гребет, тянет к ним лохматую голову.

А вдаль над ещё ночным лесом всходит солнце. Жарким жадным оком оно разглядывает пса, уток, сияющие от росы травы, мягкие блики, бархатно бегущие от волн, которые оставляет пес. Солнце поднимается выше – сверху лучше видно – и видит, как глаза уток и пса горят живыми бусинками, как, замерев в лодке, наблюдает за погоней седой мужик со сдобным лицом. Солнце улыбается во всю ширину необъятного простора, на котором розовыми мышатами разбегаются тучки, и лучистый взгляд его уходит вдаль.

Я всё смотрю, смотрю

«Воспоминание – род встречи».

Джебран

Что я всё вспоминаю и вспоминаю детство? Может, оттого, что оно – золотое время каждого человека, родина его сердца, место, откуда родом его душа. Или память, отсеивая всё плохое, печальное, темное, оставляет на своем лотке лишь золотые крупички радости, счастья, надежды. Или я, почти старик, зная о предстоящем уходе, тянусь и тянусь с тихой нежно-

стью к тому мальчику, каким я был давным-давно, еще в прошлом веке, мальчику, перед которым была распахнута вся жизнь и которого давно нет.

Но ведь не мог исчезнуть мальчик совсем, без следа, ведь во мне сегодняшнем что-то от него осталось! Сказал же Блаженный Августин: «Где же оно, мое прошлое? Ведь не может быть, чтобы его нигде не было...»

Всем нам хочется начать жизнь сначала, прожить её с учетом опыта, знаний, лучше, светлее, полнее, совместив несовместимое: детскую искренность, телесное кипение, жажду мира с каждодневной его новизной, с нынешней трезвостью, практичностью, предвидением и бережливостью к уходящим годам.

Вглядываясь в сегодняшнее, я ловлю и ловлю отражения прошлого. А поймав, пытаюсь отлить в слово. Тщетные старания! И всё же сам поиск, сама попытка на мгновенье, часто иллюзорно, приближает меня к мальчику. Иногда кажется, еще немного, и я коснусь рукой его светлой головки, встану рядом и закричу вместе с ним от счастья при виде пойманного нами здоровенного окуня, пылающего алыми плавниками.

Увижу, как влажный туман разрывает могучее солнце, как проступает желтая полоска песка на том берегу реки. Сейчас песок жарко вспыхнет золотым огнем, шелковисто засияют изумрудные травы болота, а за ним во всю ши-

рину, аж до самого Байкала, ласково улыбнется светло-зеленый лес. Увижу с мальчиком громаду Святого Носа, вздыбившуюся до самых небес, громаду, несмотря на свою огромность, невесомо парящую в лазурном просторе.

На мгновение забыв об окуне, я буду, кажется, века, следить, как пробирается по сиреневому боку Святого Носа маленькая тучка, больше похожая на летящий снежок, слепленный из первого еще мокрого снега. Сейчас снежок докатится до Байкала. Вот брызг-то будет! Но снежок катится и катится, а я всё смотрю и смотрю и вдруг слышу: «Эй, дед, что встал? Плохо, что ли?»

Ненастье

Второй день дождь. Второй день сижу дома. Встану в пять, подойду к окну – шумит, постукивает. Выйду в ограду – небо мохнато, темно, моросит дождик, сонно что-то шепчет рябина.

Вязкая тишина окутала поселок. Молчат черные дома, березы, тополя. Земля дышит сыростью, горьковатым запахом заборов и поленниц.

Можно и поехать на Шанталык, но промокнешь до трусов даже под этим морозящим дождем. Однажды я не выдержал, закинул за плечи рюкзак, взял весла и пошел на реку.

Шумел под сапогами промытый песок, казалось, я иду не по дороге, а по берегу. И, как на берегу, дремали у больших луж чайки.

Дошел до реки. Из прибрежных трав шумно взлетали утки и через сто метров садились на воду. Река была пустынна. За ней стеной темнел лес, сырой, тяжелый, молчащий. Горы с головой укутались в туман, спали.

Я тихо греб, слушая, как легко позванивал на воде дождь. Это позванивание только усиливало тишину. Я отплыл от поселка совсем недалеко, но река, неуютная в ненастье, казалась дикой, словно я далеко-далеко от людей, жилья, света.

Вода от дождей прибыла, затопив травяные островки. Не плавилась даже рыба.

Через час из сизых туч свалилась гроза. Огненно-мучные молнии вспороли серую муть, загрохотал и, дробясь, каменисто посыпался в травы гром. Ахнул ливень, ахнул промокший до ниток я.

Но всё это просверкало, прогрохотало, прошумело за двадцать минут и разом стихло. И только вода в лодке напоминала о ливне. Я вычерпал воду, закурил.

Пронеслись, неровно, рывками, махая лопатообразными крыльями, три чибиса, уронили на воду печальное «чьи вы» и скрылись. И я поплыл домой.

Затопил печку, переоделся в сухое, напился горячего чая и решил в ненастье не ездить.

Но второй день дождь. Второй день сажу дома. Шум дождя привычен, а горы уютно укутаются в тумане. И что я сажу?

Последний крик жизни

Серые доски покрылись зеленой плесенью. Столбы прогнили, не они, а забор держит их. Он до половины зарос крапивой, пыреем, полынью. В зарослях гниют консервные банки, щепа, блестят битые бутылки.

И вдруг вонь, сладковатая, резкая, заставляющая зажать нос и прибавить шаг. Всматриваюсь – труп собаки. По пыльной шерсти ползут белые, острые, как гвозди, черви. Чернеет пустая глазница, но предсмертный оскал клыков бел, кажется живым. Нет, это шевелятся черви. Всё мертво. И только трупная вонь, как последний крик ушедшей жизни, еще привлекает внимание живых.

Но прошумят дожди, продуют холодные ветры, высушит остатки плоти жаркое солнце – и вонь исчезнет. Исчезнет и память об этом живом, повизгивающем от радости существе. И наступит забвение.

Зеленая ручонка

Это высохшее болотце походило на большую зеленую поляну. Оно приветливо открывалось каждому, маня синеватыми кустиками голубицы, агатовой россыпью шикши и мохнатым кедрачом, поросшим по его берегам.

Народ охотно обирал голубицу, шикшу и сбивал длинными палками смолистые шишки, оставляя после шумных набегов пу-

стые бутылки, пакеты, куски газет и остатки снеди.

Я не был здесь лет десять и, вновь оказавшись в этом месте, бодро шагал по дороге, закинув за плечо ружье и высматривая в кустах ольхи рябчиков.

«Где-то здесь должно быть болотце, – вспомнил я. – Отдохну, поем голубицы и шикши, может, и шишки есть! Где-то здесь... Вот и гора!»

Но по краям дороги, словно за компанию со мной, шагали сосенки, березки, ольха да багульник.

«Да нет, здесь же оно должно быть! Неужели прошел?»

Я вернулся. Стена молоденьких сосенок и березок дружно тянулась в синеву. Я раздвинул ветки, прошел немного:

– Вот оно! Спряталось от людских глаз! Лежит изумрудным блюдом, сияет. – И, уже ощущая во рту прохладу сладковатых ягод, поспешил к голубичнику.

Но – остатки зарастающих травой черных кострищ, рваные следы гусениц, чадные мазутные пятна, от кедрача – пеньки. С болотца, будто с застенчивой девчонки, содрали платье, изнасиловали и бросили. И та стена сосенок и березок – зеленая ручонка, которой она беспомощно загораживается от людского варварства и хамства.

Вспомнив, что и я принадлежу к стаду двуногих, я поспешил прочь.

Дождик

Небо, ясное утром, затянулось серо-рыхлыми тучами. Даже закрапал минутный дождик, будто дымчатый котенок осторожно тронул лапкой землю: спустаться или нет? И раздумал.

И просыпаюсь

Огромное черное поле с пологими холмами. Далеко-далеко, по краю, россыпи огней. Но здесь, на дне черной чаши, черно, пусто и мертвенно-тихо.

Надо к свету, к человеческому теплу! Иду, вытянув руки, ощупывая липкую тишину. Что-то белеет. Что? Бегу. Печь. Одна печь, без дома. Надо затопить, согреться. Зажигаю. Огонек пугливо вздрагивает, кажется, он сам мерзнет. А я тяну и тяну к нему руки.

Черное поле. Огонек. Я.

И просыпаюсь от собственного всхлипа.

Просто о простом

О чем писать? – спрашивают начинающие. Надо слушать, всматриваться в жизнь и писать простые истории, судьбы обычных людей, милую природу. В этой обычности всегда присутствует необычный вкус, запах и цвет своего времени. Именно это будет ценно потомкам. А всё другое от лукавого.

Но не менее важно: как писать? Просто о простом, ведь жизнь проста, поэтому так

сложно её понять. Просто не значит бедно и бездарно. Упругие фразы, образные детали, сжатый, выражающий суть героев диалог. И всё это должно быть пропитано кровью неравнодушного сердца пишущего.

Я говорю давно известное, понятное, простое, как апельсин. Но ведь к этой простоте, ясности, словесной чувственности приходишь со временем, испробовав сложные изыски, приходишь обогащенный опытом разума и сердца, со знанием русского языка – лучащегося материала, из которого создан стих, рассказ, роман.

И вы придете к этому, но намного быстрее, если уже сейчас у вас будет правильное понимание своего пути.

Все мы идем в одном направлении – к прекрасному, не надо лишь идти след в след.

Ветер и котенок

Наступило бабье лето. Дни ясные, знойные, но зной какой-то...прохладный. Дали распахнуты, прозрачны. Далеко видны серебристые клочья летящей паутины. На горах мягко светятся желто-бурые заросли берез и осин.

Налетит ветер, начнет, как мальчишка, рвать с рябин алые ягоды. Сорвет и катает по ограде, шалит.

Котенок, которому всё внове, бегаёт за красными шариками, ловит. Поймал, прикусил, затряс от горечи головой. Ветер, думая, что

котенку нравится рябина, сыпанул на землю новую пригоршню ягод. Но котенок быстро-быстро начал отмахиваться лапкой от горьких шариков.

Ветер обиделся, зашумел листвою, сорвал веточку рябины с лимонно-бурыми продолговатыми листиками и шлепнул ею котенка. Котенок брызнул в дом. Убежал и ветер.

И только анютины глазки осуждающе качали красивыми головками.

Засинела звезда

Пала ночь, темная, безлунная. Деревья, собравшись в черную толпу, стали выходить на дорогу.

Идешь почти на ощупь и опасаясь: как бы на сук не наткнуться!

Перед лицом неслышно мелькают мохнатые комья. Это летучие мыши.

Вспыхнули впереди огни машины – деревья шарахнулись от дороги, белея убегающими стволами. Но огни погасли, и деревья, пошептавшись, вышли вновь.

Влажную теплоту пронизывает пахучий запах трав, незримый, но такой густой, что его можно потрогать. Пошел за ним и оступился.

Но вдруг далеко на горизонте слабо засинела звезда, и её одной хватило, чтобы темнота сжалась, став пугливой и бессильной. И даже деревья, когда пригляделся, совсем не на дороге, а у обочины, где и должны быть.

Улыбнись

Проснулся. Светает. Глянул в окно. Небо зябко сжимается в рыхлых белесых тучах. Снежок мутно-белый, шалый, сразу тает, оставляя на земле темные крапинки. Свисают с домов рыжими мокрыми тряпками березы. В изрытом огороде ржавые ворохи ботвы.

На рябину села синица и, разглядывая красные гроздья, грустно затенькала.

Осень. Я на пенсии и один в доме. Впереди зима.

Затопил печку. Огонь затрещал, брызгая алыми искрами, молододохнул жаром. Заварил чай, достал брусничное варенье.

Ну и что, что старость! Жить надо. А жизнь – работа и радость. Сейчас попью и пойду убирать ботву, готовить к зиме грядки – их надо перекопать, – схожу в магазин...там люди. С кем-нибудь поздороваюсь, спрошу о делах, улыбнусь.

Перевал

На веранде закапало в таз, звонко, громко, словно дождь поставил будильник.

Подошел к окну. Сквозь запотевшие стекла чернеют стволы ранеток. Конец июля.

Лето на перевале, немного и спуск в август – долину дождей, туманов, запаха грибов, тяжелого свиста уток, алых брусничных полей и вяжущей смолы шишек.

Кот и шарики

С улицы залетели два шарика: розовый и зелёный. Пометались-пометались по ограде, спрятались под куст вишни и притихли.

Но дунул ветер, и шарики завозились в кусту, как живые. Они терлись о веточки тугими боками, поскрипывали и попискивали.

Кот, услышав шорох и писк, напрягся, вздрогнул усом и медленно начал красться к кусту. Подкрался, спружинился и прыгнул. Раздался глухой хлопок. Кот взметнулся вверх, словно его подбросило взрывной волной. На самом деле он сам подпрыгнул от ужаса. Упал и с хриплым мявом ринулся прочь.

Я заглянул под куст – под ним, забившись в самые густые ветки, со страхом смотрел на меня зелёный шарик. Я достал его и, прижимая к груди, понес соседской девочке.

Черный ангел

Сквозь сон – или чудится? – кто-то ходит по комнатам. Вот пискнула половица. Да это, верно, мышь! Нет, поскрипывает, шуршит.

Открыл глаза. В окне в черно-мохнатом небе прорубью зеленеет луна. Звезд нет. Мерзнут ноги, ноет от долгого лежания голова. Сжался, согреваясь, в комочек.

Снова металлически зашуршало и совсем рядом. А может, это черный ангел незримо

скрипит крылами, приглядываясь к моей одинокой душе?

«Отрицаюсь от тебя, сатана, от гордыни твоей и служению тебе и сочетаюсь с тобой, Христос. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», – шепчу я старинную молитву и, как в детстве, крещусь под одеялом, и черный ангел уходит.

Читатель

Утро. Гряда розоватых тучек, дымчатых снизу, валится за горизонт. И мне, пишущему, кажется: это не тучки, а белые строчки – день набрасывает план повседневных дел.

На заборе сидит сорока и, задржав голову, внимательно читает.

Цена

Надо уважать себя. А что это? Только одно – работа над собой, дело. Всё остальное – грезы, зависть и жалость к себе. Люди ценят результат: то, что можно «потрогать», что им принесет выгоду, ведь любой человек, по сути, «товар», имеющий цену, и не к лицу предлагать тухлятину.

А кто это?

Он – человек-кресло. Нет кресла – нет и человека. Сам по себе незначителен, иллюзорен, похож на колхозного бригадира, невежествен-

ного, грубого, но болезненно жаждущего почестей. Ему хочется быть таким отцом-благодетелем, спасителем отечества, которому рукоплещут благодарные граждане.

А сам лыс, дрябл, как прошлогодняя картошка, говорит топорно, косноязычен, грозно трясет перед подчиненными скрюченным пальцем, а вышестоящим лижет зады. Уйдет он сегодня – завтра его забудут. В кресле будет сидеть другой, ничем не отличающийся от прежнего. А умрет – исчезнет из памяти совсем.

– Ты помнишь «Г»?

– А кто это?

Пишущий

Я человек пишущий. Сказать: поэт, писатель – было бы не то что громко, – неточно. Их, известных, а главное, читаемых, во все времена немного.

Читают меня? Нет. Может, единицы, да еще случайно: попалось на глаза – вот и пробежали глазами. Но ведь не для читателя я пишу и не для себя. Хочется! Это как потребность в еде. И, как еда, сам процесс писания принесит удовольствие, удовлетворяя незнакомую большинству потребность.

Книги издаю на свои деньги, тираж их мизерен, мир ими не захламляю. Но были мгновения, когда и я внутренне восклицал: я – поэт!

Городская площадь. Иду с работы. Навстречу старушка: «Вы Соболев? – Да! – Я всегда чи-

таю в газетах ваши стихи, вырезаю, у меня уже целая папка!» Я стою немного ошарашенный, глупо улыбаюсь, благодарю. Расходимся.

«Значит что-то наложилось... Значит, может, помогли мои стихи, поддержали...»

Еду в автобусе. Две девки. Болтают. Невольно прислушиваюсь: «Да ничего вчера не делала, на диване валялась. Ха-ха-ха... – Ты чего? – Да газета с рассказами попалась, хохотала, как дикая. Свекровь с кухни прибежала: «Что с тобой?» – А чьи рассказы? – Какого-то Соболева... – Не знаю».

Мне хочется обернуться, сказать: «Я Соболев!» Но зачем им седой жирный мужик, не от него же она дико хохотала! Автор как человек всегда хуже, невзрачнее, чем его творения, и лучше, если он незрим и, как говаривали в позапрошлом веке, окутан ореолом тайны.

Провожу творческий вечер в школе. После окончания подходит девчушка: «Можно вас потрогать? Я никогда не видела живого поэта!»

И смотрят со стен, снисходительно улыбаясь, классики.

Желтый ужас

Белый полет, словно из травы взлетела великанша-лимонница и запорхала над водой. Гоголь!

Хватаю вертикалку. Боковой выстрел. Самый удачный. Вертикалка радостно ахнула. Взрыв пуха. Гоголь рушится в воду и перевора-

чивается на спину, белея брюхом и судорожно дергая серыми лапками.

Подплываю. В глазах желтый ужас. В них нечто человеческое, пронизывающее обреченностью. Во мне даже замирает охотничья страсть.

«Старею что ли?»

Из ствола ядовито-зеленоватой змеей ползет дым. Скользит по янтарной глади дымчатый пух.

Беру гоголя. Он теплый, еще живой. Отворачиваю, чтобы не мучился, голову. Шейные позвонки хрустят, словно сухо взрываясь, и желтый ужас гаснет.

Душа охотника

Зашел на кладбище проведать родных. Холодным пламенем желтеют осины. Куст рябины горит тяжелыми кистями. Агатоно сияют ягоды черемухи. Бледно краснеют между могил рыжики, темнеют маслянистые шляпки маслят. Толокнянка покрыла чью-то заросшую ольхой могилу сплошным кожистым ковром, плотным и темно-зеленым. Ало светятся на солнце редкие ягоды.

Забвение. Вечность. Тишина. Лишь гулко-гулко постучит дятел, да хрипло прокричит сорока. И вдруг черной тенью метнулась белка, мягко скользнув по стволу. Словно душа охотника, вспомнив промысловый сезон, спустилась с небес, но, спугнутая мной, скрылась в пушистой хвое.

Читая Бунину...

Перед закатом набежало
Над лесом облако – и вдруг
На взгорье радуга упала
И засверкало всё вокруг...

Казалось бы, простенькое стихотворение о дожде, молодости, любимой. Но читаешь – и захлестывает восторгом, будит воспоминания, не отпускает.

Почему? Да просто душа прикоснулась к красоте: красоте природы и человеческих чувств, которые слиты. Ведь что такое человек, как не часть природы, мыслящая и только! Разве счастье, вызванное дождем и любимой, не одно и то же? Одно! И потому через эту слитность душа прикоснулась к вечности.

...О, росистый куст!
О, взор счастливый и блестящий
И холодок покорных уст!

Но и сам стих – красота в слове. Как оно сверкает «стеклянным» дождем, сияет «золотыми» ливнями, блестит счастливыми глазами любимой девушки!

А как изумительно точно передан шум дождя: «с веселым шорохом спеша», затихающий в последнем слове второго четверостишия «дыша». Мы словно слышим эти стеклянные капли, пузырящиеся в лужах.

Поэт не описал, нет, он сотворил в слове новый мир, одухотворенный его чувствами и мыслями, мир любви, сверкающий, блестящий, вечный и прекрасный.

Диалоги

1

– А ты что, Егоровна, тяжесть такую носишь? Скособочилась вся. Накупила чего?

– Да песок это в пакете.

– Песок?!

– Песок. В прошлом году в гололед так растянулась – месяц провалялась! Нынче умнее – где хожу, песочком ледок присыпаю. А власть ждать – ногу сломаешь!

2

– Надо делать добрые дела – и жизнь изменится к лучшему!

– Добрые? Я вот недавно рыбки соседу дал, а он в милицию, мол, браконьерю. Еле откупился за доброе дело!

3

– Никто в тебя не верит!

– Не страшно. Страшно, когда сам не веришь в себя!

4

– И – эх!

– Что с тобой?

– Да надо было лизнуть, а я гавкнул!

- Ты знаешь, Верка умерла?
- Да ты что! Когда же она теперь мне унты сошьет?

Счастье? Вот оно!

Утро. Сажу за столом. Свободен как Бог. Ни забот, ни работы. На пенсии. Ковыряю, как в детстве, в носу и смотрю в окно.

Дым из труб розоватый, мягкий – кремовый. Потрогать бы! Сугроб взметнулся ввысь снежной волной, но забор не перепрыгнул – застыл.

На заборе сорока. Вертит головой – чем бы поживиться? А! Вон мясные опилки. Вчера пилили на большие куски стегна мяса. Подлетела, жадно хватает вместе со снегом. Увидела в окне меня и, обругав, улетела.

Неужели нужна целая жизнь, чтобы понять: счастье – вот оно, в этом покое, в принятии мира таким, какой он есть. Кажется, растворился в нем: стал этим розовым дымом, марморным на солнце сугробом, пухлой сорокой, даже мясными опилками, вкусно алеющими на снегу. И хочется одного: чтобы это не кончалось, было! Пусть уже без меня, но таким же сочным, морозным, ярким.

А я, что я, как парок из клюва сороки. И никакие книги не помогут.

Сценка

Парикмахерская. В кресле седой старичок. Пухлая бабенка-мастер растерянно смотрит на редкие волосики.

– А эти не трогайте! Это у меня антенны. С космосом общаюсь.

– А-а...

Зимние бабочки

Тёмно-зелёная громада Байкала. Снежная россыпь беляков. Камни на берегу во льду, они матово светятся, словно жемчужины.

На большом валуне березка. Валы набегают на валун, вздымая косматые столбы белесых брызг, и березка в стеклянном панцире. Кажется, от тяжелого гула панцирь позванивает.

Задымилась ветка сосны. Это ветер развеял снег. Всё дышит зимней сыростью, и невольно съеживаешься в куртке, будто в теплой норе.

Но вдруг на закатанной дороге запорхали две бабочки – желтая и черная. Откуда они? Вот черная села на снег, сложила махровые крылышки, а желтая, играя, летает рядом.

Не выдержал – побежал. Вдруг улетят?

Да это совсем и не бабочки! Это листья. Засохли, застыли на ветке, но налетел ветер, сорвал и погнал по дороге. А я по наивности и вечной жажде беззаботно-теплого рая принял их за бабочек.

Но как?

Матово светится снег. На дороге от тальников кружева теней. Кружева облеплены сотнями синеватых блесток.

Белеет луна. Звезд нет, и кажется, вспыхивают не блестки, а упавшие с неба холодные звезды. Так и хочется пройти, не наступив на них. Да и в мохнатых кружевах теней можно запутаться.

Но как пройти? Везде звезды и тени, тени и звезды.

Зеркало

Иногда наплывают безумные мысли-ощущения, что тот подросток, горящий от застенчивости, жадно ждущий любви и славы, жив, и все, кто окружал его, живы. Они там, в параллельном мире. Я иногда даже слышу голос: «Костя!» Это зовет он – тот «Я», вечно оставшийся подростком.

И сны, и воспоминания, и странная жажда запечатлеть в слове прошлое – пусть косвенное, но доказательство реальности ушедшей жизни. Так и кажется, что время – незримое зеркало, в которое с одной стороны смотрит подросток, с другой – старик. Они смотрят, видя себя, но пытаются разглядеть друг друга.

Дядька

Умер Вовка, мамин брат. Отец у них был один, матери разные. И жизнь была разной. Маму в детстве взяла к себе тетка Пана, моя бабушка. А брат мыкался с отцом, промысловым охотником, который бывал дома редко. Подростком Вовка уже неводил, работал в колхозе «Байкалец» рыбаком.

Самое яркое воспоминание о нем: я, совсем маленький, смотрю, как он мочится у бабушкиной баньки. Тугая струя золотистой саблей режет белый бок сугроба. Заглядываю: откуда она? Смотрю и замираю от восхищения. Мне жаль, что дядька прячет такой славный предмет в штаны и, шумно вздохнув, что-то весело говорит мне. Он молод. Молодо солнце. Здоровый снег бел и туго скрипит.

«Холодно, потому и прячет, – думаю я. – А так бы он всем показал! Мы вон летом с Петькой голышом по лужам, а у Петьки что, стручок гороховый».

Помнится и другое. Дядька, уже постаревший, спивающийся всё на той же рыбалке, привез нам сигов. Еще выпил, захотел отлить. Опершись на забор, никак не мог расстегнуть ватные штаны. Матюгнулся и, махнув свободной рукой, начал обреченно прудить в штаны.

Уже пожилым его парализовало. Ночью загорелся сеновал. Кровавое пламя взметнулось в черную бездну, ахнуло и, шипя искрами, поползло к дому. Дядька от ужаса замычал, вког-

тился в пустое ведро и тряпкой повалился на землю.

Последний раз я видел дядьку незадолго до его смерти. Сидит в коляске, беспомощный, обреченный и смотрит перед собой... в вечность.

Жизнь как пыльца на крылышках бабочки-огневки. Время грубо сминает, раздавливает, и летит в небытие стертая серая крыло.

Бессмертные лики

Необычайна судьба русских писателей – они начинают жить после смерти. Жить мощно, в полный голос, ежеминутно проглядывая то тут, то там ликами созданных ими героев.

Гоголь. В годы застоя он напоминал о себе Городничим, отечески распекающим местных «купчиков» на бюро. Ах, как он радел о благосостоянии Отчизны! А то, что изобильно жил только он, так не всем же всё сразу. Сегодня он публично скорбит о сирых и униженных, но не потому, что так печется о них, нет, просто его потеснил Чичиков, приобретающий всё и вся, а не только мертвых душ, приобретающий и тут же выгодно перепродающий.

Вот и грозит ему Городничий словесным кулаком, но Чичикова статейками не проймешь, да и некогда ему читать всевозможные обращения – делом занят – копит, и не копейку, миллионы.

Вечный Петрушка всё также складывает буквы в слова и слывет за современную интеллигенцию. Селифан искренне удивлен: куда это он в очередной раз заехал? Манилов строит воздушные мосты и уверяет всех, что они прочнее железобетонных, тем и более и со строительным материалом никаких проблем, напротив, даже избыток по стране.

Но особенно активен Ноздрев! Сколько фирм, фондов зажглись его неумной энергией! Правда, свет их был хоть и слепящий, но недолго, и только тьма, охватившая доверчивых вкладчиков, открыла им глаза.

Заметен и Хлестаков! Департаментом еще не управляет, но во все властные и партийные структуры уже попал и хоть кричит: «Уж у меня ухо остро! Ужо я вам!» – всё тот же пустышка, трус и бабник.

А наверху кричат дяди Митяи и дяди Миняи, высвобождая запутавшуюся Россию. Тщетно.

И все они живее живущих. Забудется великий автор, создавший их, – они останутся, потому что бессмертны, как бессмертна человеческая глупость, рвачество и прожектерство!

Рождение

Посыпался мелкий снег. Стало серо и мокро. И тихо-тихо, как бывает всегда весной. И вспомнился из далёкого детства день.

Так же невесомо и печально опускался с уснувших небес мягкий снег. И в этот миг не-

бесной тишины, когда в мире, касалось, были только я да небо, во мне и родился поэт. После этого тишина, одиночество, запах талой земли, чуть горчащей, как неизбывная тоска ожидания чуда, никогда не покидала меня.

Помню: я трогал детской ладошкой морщинистую кору тальника. Это проглядывал лик моей старости, но я не знал. А на реке несло лед, мутная вода пахла сыростью и гнилью. Река и берега были пусты.

Только я, небо, река. И так всю жизнь.

К устью

На берегу сидит мужичок, пьет пиво. «Отходняк». Замрет, невидяще смотря на воду, на меня, проплывающего в лодке, и снова прильнет к «полтарашке», как младенец к соске. И душа его темной водой обреченно катится к устью.

Отогрела

Всё покрыто снежным саваном. Сизо-мохнатые столбы дыма вмерзают в льдистую синеву. И лицо, и сердце свело от мороза до боли. Слезы сыплются горошинами.

Поскуливаешь и бежишь, бежишь в дом, к теплой печке, к чаю горячему, слыша, как брусками мела лопаются за спиной замерзший снег.

И вдруг на голой ветке синичка. Зеленовато-весенняя, словно живой изумрудно-солнечный зайчик. И сразу теплеет в душе.

Ангел

Полулежит, прислонившись к решетке, бомж. Уже не человек, а ком грязной одежды, и бежит из-под кома темным ручьем моча.

Прохожие брезгливо обходят её, будто она живая. И только Ангел сидит рядом и никуда не уходит.

Частичка

Сижу в лодке. Зеркальная гладь слепит. В белесой дымке мохнатая зелень леса, а вверху, в синеве, словно высеченные из белоснежного мрамора, облака.

Душно. Всё замерло. Даже травы кажутся нарисованными светло-зеленой краской. Слышу, как ползет по шее капля пота. А может, жучок? Прихлопываю. Нет, капля.

Сижу, ни о чем не думая, просто сижу и смотрю. Стелются рыжеватые водоросли. Две голубые стрекозы, сцепившись в страсти, с жестяным шумом рушатся в траву. Из травы несется сухое позванивание, словно там перекликаются болотные человечки.

Кругами парит коршун. Сплавился подъязок. Белесым сучком торчит в зелени цапля. И больше никого. Только я на окутанной знойной мглой реке.

Да и меня, того, суетливого и мирского, тоже нет. Замер хаотичный поток мыслей, притихли тщеславные чувствования, и глаза мои, открытые, но не невидящие, стали смотреть в

себя, а там одна широкая и ровная река, вобравшая в себя все мысли и чувства: Господи, да я просто частичка этого мира, вечно обновляющегося и прекрасного!

Поводок

Человек, несмотря на всё человеческое: солидность, богатство, положение – часто щенком. Болезнь ли, житейская неудача мгновенно вышибают его из привычной колеи, выбросив на обочину жизни.

И тогда, потерянный, мечется он, повизгивая и скуля, ища, к кому бы приткнуться, кто бы помог выбраться на защищенное место. Но нет никого. И тогда хватается человек за единственное, что у него осталось, – надежду. А надежда – это всегда план: Что сделать? Как? Когда?

И план этот незримым поводком тянет, тащит «щенка» в правильном направлении. Не раз по спасительной дороге срывается слабый человек в ямины, вляпывается в грязь, валится обессиленный и покорный безжалостному року, но тянет, тянет поводок. И вот выбирается человек на потерянную колею и, защищенный, вновь живет без царя в голове, несясь по жизни бесцельно и бездумно.

Новогоднее

Ясно-лиловые снега празднично сияют, спят. Модницы-ёлочки в пушистых шубках. Не провода – гирлянды серебряные. Даже луна

ну никак не хочет спрятаться в синеве – висит новогодним шаром.

Одна лишь ворона, чёрная, пугающе огромная, вертит головой-головёшкой, вспыхивая стальным глазом. Но и она разжилась подарком – куском белого хлеба – и радостно несется на всех парах, только ветер свистит.

Эх, сейчас потрапезничаю!

Ночью

Луна заливала ограду бледным светом. Лаял пес, визгливый, истеричный. И наваливались зыбистой горой сны. Куда-то еду, пересегаю из одного автобуса в другой, забываю сумку, ищу. Да здесь же она была, здесь! Но где? Где она? Потом снилась работа. Какие-то постановления... одно под номером 41 найти не могу, роюсь в папках, а там не бумаги, а плоские пирожные с кремом. И мучительно хотелось во сне проснуться, чтобы наконец-то прекратился этот поиск.

Проснулся. Окно синее. Раздавленным апельсином валится за темную гору луна, и горит над крышами большая золотистая звезда.

На Баргузине

Мы рыбачим на реке Баргузин. Ловим у самого берега ельцов, сорог, реже окуньков.

Конец марта. В поселке уже чувствуется весна: ежата сугробы, дороги зеркальные, снег

местами словно застеклили тонким хрупающим стеклом, и на рябине звонко голоса синицы. А на реке зима-зимой. Глубокие колеи морозные, «сахаристые». Лунки покрываются ледком. Приходится периодически снимать сачком морозную пленку. Сачок быстро превращается в льдистый кулачок. Стучишь им по затвердевшему насту – и кулачок звонисто рассыпается. А далеко-далеко ослепительно и холодно белеет Святой Нос.

Кажется, зима присела на порожек и задремала. Давно пора в путь, но никто не будит старушку. Чайки бы что ли скорее прилетели! Загорланят – разбудят.

Клёв вялый. Сыпанешь в лунки бормаш – подбежит два – три ельца – и тишина. И маракуешь над мормышками: наживляешь силикон всех цветов радуги. Хватай на выбор! А мормышки – и «капелька», и дробинка, и «клопик» – с бисером всевозможным. Не берет!

По сути, надо бы дома сидеть, ждать, когда потеплеет, появятся лужи, вода начнет проедать лед, и собьется у берега елец с сорогой. Но как усидеть! Солнце и синева уже бархатная. Вон даже женщины ловят! Да и не то что в будке с печкой – просто в палатке тепло. Ловишь без перчаток.

Бормаш надо чаще сыпать. Ну что я говорил! Есть! Шумно вздыхает лунка, и елец, тугой, икряной, пьяно бьет о лед хвостом.

Осыпаются сугробы

Конец марта. Раннее утро, а вороны уже орут, и с колким шорохом осыпаются от их ора похожие на хворост сугробы. Да нет, не от вороньего крика – от моих тяжелых шагов.

Валят из труб белые дымы и тянутся к еще белёсым горам.

В этом году снега столько, что в поселке провалилось под его тяжестью двадцать три крыши. Дороги – сплошные тоннели, и снег на них, закатанный за зиму, полуметровый.

Но днем уже море солнца, мягкого света, и в тех местах, где на дорогах сыпали рыжий песок, снег разбухает. Идешь, а по бокам позванивают нежные колокольчики – это от тепла осыпаются с тихим звоном сугробы. Шумно сходят с крыш большие лепехи мокрого снега. Пес от неожиданности взвизгивает и отбегает.

Птицы не прилетели, но синицы голосят на всю ивановскую. И тело мое, по-весеннему тугое, летящее, ликующе несет вечно парящую душу.

Ликует мое сердце

Как гортанно кричат лебеди! Их победные клики заполняют всё зеленое пространство Шанталыка, еще росно-тяжелое, словно покрытое солнечной позолотой. Кажется, она неслышно позванивает от их могучих криков.

Я стою на илистом берегу. Слушаю, смотрю. Синее литая вода. Посвистывают кулички. Сыто крякая, протянула в синеве парочка уток. На кочке агатово блестят колбаски ондатры. Они так отполированы солнцем и утренней свежестью, что их хочется потрогать.

И болотные травы, и река еще дышат ночной сыростью и прохладой, но уже тянет из леса теплым запахом молодых листьев. В нем тонкими струями незримо течет густой душисто-сладковатый запах белоснежной черемухи.

Пустынно и свободно. Еще нет ветра. И только сердце мое шумно ликует.

Бог

Ах, какое праздничное небо! А облака, облака... словно Бог вынес на лазурном блюде целую гору сдобных булочек, посыпанных сахарной пудрой, и довольный солнечно улыбается. Он похож на бабушку Пану, такой же высокий, добрый, пахнущий теплым хлебом и парным молоком.

Не только я, вон и шмель смотрит в синеву, и дятел перестал стучать, лишь ветер по-детски шалит листвой осин. Кажется, они сыплются серебряными водопадами.

Бог, чтобы не мешать, растворился в синеве вместе с растаявшей снежком луной. Загудел шмель, застучал дятел, и тень моя неслышно заскользила по промытой ночным дождем дороге.

Внук и дедушка

Снежок, бусивший ночью, простынкой лег на деревянный тротуарчик. «Внук за дедушкой пришел!» – говорила бабушка Пана о таком апрельском снеге.

Днем снег начал таять. Ребристыми струйками, позванивая, побежали ручьи. На тополях заливаются на всю ивановскую синицы. Даже тяжелый клекот ворон падает на землю мягким незримым комом. Порхнула язычком пламени бабочка. Первая! И легла на поселок густая, пропитанная солнцем синева.

Внук уведет дедушку ночью, когда подмерзнут дороги и круглая большая луна усыпит поселок. Никто и не увидит старого слабенького дедушку. Коты? Им не до него. У них свадьбы. Вон как орут!

Парад льдин

Льдина выплывает всегда неожиданно, словно белый крейсер. Даже ахнешь про себя: речушка узкая, уже чистая, и вдруг из-за поворота такая громада! А вот еще одна!

Тугая вода несет их стремительно, медленно поворачивая на изгибах речки. Серо-матовый край с сырым шорохом цепляет льдистый берег. На нем одинокой зевакой в светло-коричневой шубке сидит ондатра, мокрые усы её серебрятся на солнце. Вторым зевакой, сидящим в лодке чуть поодаль и безусым, явля-

юсь я. Оба мы прислушиваемся, как по-стариковски побрякивает от ударов льдин берег.

Сухие рыжеватые травы низки и безмолвны. Они высохли, кажутся пыльными, но десять – пятнадцать дней, и берега победно зазеленеют, засветятся нежно-изумрудным светом.

Уже и сегодня серые прутья тальников серебрятся пушистыми барашками. На них сидят мелкие, темные, похожие на точки, паучки.

А льдины несутся, сталкиваются друг с другом, хрупают, шуршат. Закроешь глаза – кажется, в воде шумно возится какой-то неведомый зверь.

На повороте затор. Перед ним клочья мутно-белой пены. Вот «крейсер» врезается в него, дыбится с таким шумом, что трясогузка, уронив рассыпчатый свист, поспешно улетает.

Тальник вмерз в лед и, словно в отместку за зимний плен, не отпускает льдину. Подруги толкают её в рыхлый бок, зовут за собой на простор, на волю. Она вздыхает, покачивается, ей тоже хочется поскорее уплыть. И вот напряглась, качнулась, вырвалась и поплыла, поплыла. И паучки засуетились на ней, как матросики.

После ненастья

Белеет, подсыхая, тротуарчик. Серые пухлые тучки, словно прячась от порывистого ветра, бегут быстро-быстро. Но и ветер стихает. Уже не так сильно мотает голые верхушки тополей и берез.

Пролетела ворона. А днем, когда шумел ветер и сёк дождем стекла, ворон не было, верно сидели по своим «домам».

Кот прошел по тротуарчику, повертел головой – сухо, не надо отряхивать от воды лапы.

Пора и мне на улицу!

Буль-буль-буль

Иной раз взлетит утка, схватишь ружье, а вместо тугого хлёсткого выстрела слабый пук и дробь буль-буль-буль рядом с лодкой. Порох, видимо, отсырел.

Так иногда и в творчестве. Читаешь, будто складно, а на деле буль-буль-буль. Не берет за душу!

Отчего это? Таланта ли не хватает? Вещь ли сыроватая, сделанная впопыхах? А заряд? А что заряд, он вторичен. Всё ведь давно сказано и написано.

Ворон

Такси у больницы. Таксист толстоморд и важен, как начальник.

– Сколько?

– Сто пятьдесят.

– А что так дорого?

– Не хочешь – не езд!

Но куда деться больной старушке! Едет, всю дорогу выбирая из потертой сумочки мелочь.

На следующий день он же.

– Сколько?

– Двести!

Где боль и беды, обреченность и уход, всегда кружат вороны.

Осеннее цветение

Травы словно из белого мрамора. Кажется, им поставили на просторах болот общий памятник.

Протоки и заливчики сковал тонкий ледок, и на нем вершинки трав покрылись таким пышным инеем, что, если глянешь издали, ахнешь: льдистые полянки цветут! Подъедешь – у каждого «цветка», словно перышко, лепесток.

А один цветок даже запрыгал, вспыхивая на солнце! Да нет, это не цветок – сорожка! Щука пугнула – вот она, пробив ледок, выпрыгнула да и раскатилась.

И синева цветет. В ней, роняя гортанно-седые клики, летят два гуся.

На юг летят. А я, уже старик, плыву на север, и цветение мое осеннее.

Лягушонок

Вспоминается детство. Трехлитровая банка с водой. Плавает кусок рыжего пенопласта, и на него, спасаясь от жука-плавунца – он огромен и страшен, залазит маленький лягушонок.

И лягушонком смотрит в банку маленький мальчик.

Начало апреля

Уже пахнет теплой хвоей. Солнце доит толстые сосульки, весеннее молочко серебряными каплями выбивает в снегу лунки.

С нежным звоном осыпаются сугробы. Заливаются синицы.

Но после дней тепла с вечера налетел ветер, гудел и стучал ставнями всю ночь. Ночью упал снег.

Утром, сырой и тяжелый, он тускло светился, и мокро светила в синеве луна.

Цепляешься

Как много я говорю, говорю одно и то же! Старость? Живешь прошлым? Одиночество? Или жизнь уже обваливается в небытие и цепляешься разговором за живое?

Обреченный

Когда-то широкоплечий, коренастый, литой. Как и отец работал на неводе. Начал пить. Пока здоровья и силы было немерено, организм вытягивал и тяжелую работу, и пьянки. Но неуловимо, как темные спинки рыб, мелькали годы. Спился.

Сегодня нигде не работает, да и не может по болезни и немощи. Попрошайничает на крыльце магазина. Когда, взяв мелочь, уходит, кажется, еще шаг, и это дрожащее, худое тело развалится на трухлявые куски.

И жутко, и страшно, и жалко, как всегда, когда видишь обреченное живое существо.

Осень

Утрами огород бел. Кажется, старушка-ночь рассыпала с холодных небес соль, повздыхала ветрами, ну да ничего, день с его солнышком приберет!

Рябина постелила у ворот огненный коврик, а на крыльцо ветер намел целый сугроб каленых листьев. Красиво! Но сама рябина жалко топорщится голыми ветками, жметя к окну, словно побирушка, отмахивается от свиристелей, склевывающих последние ягоды.

На Шанталыке у травы, в маленьких заливах, первый ледок, еще тонкий и хрупкий, как стекло.

Утка отяжелела, жирная, словно летучий поросенок. Взлетает из седой от инея травы грузно. Кажется, сейчас хрюкнет от неудовольствия, что потревожили.

И словно тяжелые рыжие крылья раскинулись вдоль болот березняки.

Из того мира

Тополя и рябины облетели. Ветер гонит по улицам ошалевшие от холода листья. А сегодня первый снежок. Небо заволокло белесой мутью. Редкие большие хлопья улепётывают от ветра.

Был у знакомых стариков. Дед временами словно выпадает из жизни, глаза мертвеют и губы сбегаются топориком. Бабка еще бодрая, но ведь женщины всегда крепче! Фундамент семейный – они.

Вышли меня проводить. Оглянулся. Машут вслед. Кажется, они машут из того мира.

А дорога уже побелела.

Отлитый в слове

Что такое настоящий текст? Это кусок жизни, отлитый в слове. Читаешь и будто вновь проживаешь прожитую жизнь. Смеешься, плачешь. И как хочется вернуться в молодость, так и текст хочется перечитывать вновь.

Покой дороже

Суть человека – тонкое балансирование на грани добра и зла, светлого и темного. Может, этим и объясняется, что так стремительно опускается человек.

Свалка. Бомжи. Почерневшие, словно в саже, лица. У одного большие, не по размеру, ботинки. А ведь некоторые совсем молодые! На свалке и живут. Вырыли землянку, натаскали в неё выброшенную мебель.

Мы выбросили мешки с мусором. Бабы хозяйски роются, отбирая съестное и переругиваясь. Тут же вороны, чайки, прыгают, выхватывают друг у друга куски и переругиваются между собой, как бабы.

Если взглянуть на это, разбив корку равнодушия, – жуть! Но ведь не взглянешь – собственный покой дороже.

Железная логика

Иногда вдруг вспоминается советское время. Аэропорт небольшого поселка. Длинная очередь в кассу. Всем надо лететь, а билетов на «кукурузник» нет.

Очередь бурно возмущается, идет к начальнику требовать дополнительный рейс. Тот лишь разводит руками.

– Дайте жалобную книгу! – с негодованием кричит народ.

– Жалобную книгу я вам не дам! Она дается только пассажирам, а вы не пассажиры! Где ваши билеты?

Народ с изумлением теряется перед этой железной логикой.

А ворона смотрит

Встретил друга детства. Лицо темное, словно закопченное, морщины, как борозды, редкие волосы свисают жидкими лохмами. Ссохшееся тело клонится к земле. Старик.

А когда-то... Тугой, летящий, как стриж. Ах, как мы носились по улицам, огородам, боннам! Как ласточкой летели с пирса в пахнущие соляровкой воды Баргузина! Как палили из поджигов!

Господи, как быстро мелькнула жизнь!

Сейчас октябрь. Тополя и рябины топорщатся голыми ветками. Серая муть накрыла горы. А вот и снежинки, первые, редкие. На забор села ворона, нахохлилась, не улетает, смотрит на меня.

Подранок

Поднял голову – на воде широкоребристые круги. Но это не рыба! Нырок? Подранок? Ружье к плечу и смотрю: где всплывет? Вон! И сразу нырнул. Ничего, заливчик широкий и мелкий, никуда не денется.

Вынырнул и сразу ткнулся в траву. Больше по инерции, чем в цель, пальнул наугад и попал! Забулькал, белея брюхом.

Подплыл, взял, а у него вместо одного крыла матовая кость светится. Сухой как палка. Кто-то на открытии охоты отстрелил крыло, но чирок ушел.

Жалость мягко сжала сердце. Но ведь утрами уже иней, в лужицах лед, лист почти облетел. Шанталык вскоре встанет, и тогда подранка съели бы вороны.

Тщеславие

Как тщеславен человек! Жажда, чтобы о нем говорили, воистину неизбывна. А может, это страх смерти, небытия? Умер и мгновенно исчез. А хочется остаться хоть чем-то: стиш-

ком, рассказиком, мемуарами на пожелтевших страницах газет.

Вдруг в грядущем кто-то прочтет и вспомнит?

«Паучок»

Писатель сегодня похож на паучка. Сидит в уголке, что-то кропает. Иногда выскочит в свет на поиски спонсоров. Но кому нужны его творения! Глянет богатый дяденька на серое существо с полудиким взглядом и мгновенно откажет.

Паучок не божья коровка, в руки никто не берет, а вот веником с превеликим удовольствием.

Забор

После дождей, сизых туч, холодного сумрака заборы, когда улыбнется солнце, особенно праздничны. Промытые, чистые, они лучатся и радуются теплу.

В ясно-тугой синеве парят коршуны и чайки. Кажется, синева зацвела живыми цветами.

На забор села ворона, греется, сытая и важная, как чиновница.

Кот похож на черный шар с лапками, только светятся два янтарных глаза. Идет степенно, на ворону ноль внимания. Воробьи – вот добыча! Червяка не поделили, дерутся, куча мала. Заметили кота и на забор, затихли, пригреблись.

Кот поднял лапу, держит на весу – впереди лужа. Или воробьям грозит? «Видели, какие когти? То-то! – подошел к червяку: Фу! И какую гадость едят!» – прыгнул на забор, сел в сторонке.

Хорошо на солнышке!

Помоги!

Как стремительно и страшно скотинит человека водка! Как он быстро опускается, деградирует, превращаясь уже при жизни в мертвеца! И как от покойника, шарахаются от него окружающие. Воняет! И не только телесно. Кажется, и бессмертная душа его начинает незримо смердить.

Вот грузно идет в страшном похмелье молодая баба. Лицо опухшее, темное, слепое. Что-то знакомое на мгновение проглянуло в ней и вспомнилось: тоненькая девчушка несет букет черемухи. Белоснежно и росно сияют пышные кисти, и также чисто светится на солнце юное с двумя лучиками глаз личико. Издалека кажется, что весенний ветер несет над дорогой два благоухающих букета.

Парень, пьяный в дымину, спит на асфальте. По-детски свернулся калачиком, а у головы лужа блевотины. Подбежал пёс, нюхнул и понесся прочь.

А когда-то сильный, тугой носился по полю, как ветер, и мяч от его хлесткого удара садко и точно влетал в девятку.

Господи, помоги им!

Старость

Старость – это одиночество и надежда только на себя да на Бога. Дети выросли, разъехались, у них своя жизнь, свои заботы. Внешние связи, работа, карьера давно отгорели. Партнеры, товарищи в прошлом, знакомые исчезли. Уснула гордыня, не мучит тщеславие. Время спрессовалось, как дымный порох в старом патроне.

Человек скукоживается – цели минимальные: приготовить еду, сходить в магазин, посадить огород. Если позволит здоровье, а под старость в гости приходят только болячки, съездить на рыбалку, охоту, за грибами.

Дел никаких. Разве побриться? Смотрит из зеркала морщинистое, похожее на картошку-матку лицо, покрытое, словно инеем, щетиной. Побреешься. Брызнешь одеколоном, и кажется, даже одеколон воняет псиной.

Хорошо, когда старость встречают вдвоем. Есть о чем поговорить, что вспомнить. А одному?

Самым близким существом становится пес. Вот – не подбежал – подошел – ткнулся в колени. Он тоже старик. Вздыхает, прижав уши.

– Всё, Хват, отходили мы по тайге!

Вся радость – выглянет солнышко, потеплеет – и на душе светлее. Да и тело не ломит к непогоде. Сядешь на крылечке, закроешь глаза и невольно улыбнешься, когда вольный ветер по-матерински потреплет редкие волосы.

А зимой, когда одиночество давит особенно сильно, затопишь печь и смотришь на огонь, не думая ни о чем, ничего не вспоминая, просто смотришь и греешься и не можешь никак согреться.

Самое тяжелое время суток – ночь. Днем солнышко, люди за окном, мелкие дела, а ночью темень и мертвая тишина. Уснешь – снится нерадостное: одинокий огонь одинокой машины на голой реке. Колючий снег жжет задубевшее лицо, свинцовые от усталости ноги вмерзли в лед, как сухой прошлогодний камыш. Немо кричишь, машешь рукой, но машина проходит мимо. И просыпаешься от крика и холода.

Старость требует от человека не силы, а веры, терпения и мужества спокойно ждать смерть. Вот будто замаячила в конце улицы. Да нет, это мелькнул в вечерних сумерках прохожий.

Старость – одиночество и холод.
Лепит снег в замерзшее окно
Хлопья. Неужели был я молод?
Верно, был, но было так давно!
Что я помню? Только тень подростка
Лунной ночью, синею, весной.
Свет луны, как слой тугого воска,
Заливал поселок с головой.
Я бежал, наверно, на свиданье.

Только с кем? Уже не помню я.
Старый пес глухой надсадной бранью
Меня слал в известные края.
Всё исчезло: пес, подросток этот,
Девочка – ну надо же, забыл! –
Как тогда мечтал я быть поэтом!
Стал и даже слышу шорох крыл –
Музы или ангела? Не знаю.
А, быть может, тот, кто многоооч –
Ангел смерти? Жизнь, как свечка, тает.
И его уже не гонишь прочь.
Скоро распахнутся двери рая,
И Петра увижу ясный лик.
Валит снег от края и до края.
И, как снег, к окну прилип старик.

Ничего и не надо

Ночью сладострастно стонали коты и плавилась в синеве золотая луна.

Александру Александровичу не спалось, и он вышел в ограду. Пахнет сыростью намокшей за день земли, но запах ещё прохладный. К утру слегка подморозит, лужи покроются ребристым ледком, но тонким-тонким – воробей провалится.

«Как выросла за день сосулька у бани! Беле-сая...бугристая... Сожмешь – тающий холодок. Сбить, как в детстве... Старуха засмеет...»

Луна покрыла крыши, заборы, землю тонким слоем лунного лака, боязно трогать. Золотистым лаком покрыта и кошечка, томным

комочком притихшая на заборе. Рядом два кота – орут и от ненависти друг к другу, словно пушистыми палками, бьют по доскам.

Матово светится голый тополь. Тонкие веточки облеплены голубыми и малиновыми звездочками.

Старик стоит на крыльце, вслушивается. На соседней улице звонко смеются девчата, а дальше, видимо, на краю поселка по-стариковски глухо бухает пес. И стоны котов, и смех девчат, и сияющая, как новая миска, луна мешают спать. А ему, кроме теплой конуры и покоя, ничего и не надо.

Не ко времени

20 мая. После жарких душных дней ночью бело ахнул снег. Зима, настоящая зима, когда она первый раз спускается с сизых небес и вопрошает всё живое: «Не ждали? Пора!»

Но какая же зима в мае?! Зеленые пучки на рябинах недовольно топорщатся, пытаются скинуть комья мокрого снега. Сухие травы белы, нагнулись, но даже и они недовольны, мотают головками.

«Одурела! Одурела!» – орет зиме ворона. Кот вышел из дома и встал как вкопанный: что за дела? Еще вчера бабочек на траве ловил, а тут, и впервые согласился с вороной: действительно, одурела! Усы у кота нервно подрагивают: куда идти? На сарай? Там снег да тучи, темныхлых, тяжелые, цепляющиеся за крышу.

«Ну её! У печки понежусь!» – и начал скрести дверь.

Но вскоре закапало с крыш, чаще, веселее. Провода стряхнули гирлянды, и на дорогах от ног и колес проступила земля. Заборы, залепленные за ночь снегом, словно известкой, очистились.

И бел, и чист, и по-новогоднему красив снег, а не ко времени, нет в нем радости, потому и не нужен.

Песочники

Увидел в магазине песочники сердечком, и вспомнилось: бабушка и песочники на листе. Плоские, широкие, поджаристые. Они хрупали на зубах, осыпая на клеенку сладкие крошки. Я слизывал их прямо со стола. Песочники хорошо было макать в чай – они разбухали и казались ещё слаще.

И песочники, и большие пироги с повидлом, и хворосты, и плетенки с маком, и круглые шаньги – всё хранилось на длинных листах в казенке.

Я тихонько пробирался в темную казенку и устраивал погром. Выковыривал яблочное повидло, золотистый творог, отхрумывал у хворостин посыпанные сахарной пудрой ломкие края.

Особенно манили вафли. Бабушка стряпала их в вафельнице с длинными ручками. Вафельница досталась ей от матери, значит, сегодня ей почти два века!

Положит на угли в русскую печь – минута – и, попыхивая дымком, с подгоревшими краями, вафля готова.

За погром единственного внука не ругали. «Это мышка пооткусывала!» – сокрушалась притворно бабушка. «Мышеловку надо поставить, а еще лучше капкан. Мышка-то уже большая!» – вторил бабушке дед.

Я молчал – знал, ни мышеловку, ни тем более капкан не поставят.

– Дайте, девушка, мне песочники!

Дома заварил чай, намочил песочник. Нет! Того уже никогда не будет.

Поздно

Книжный магазин. Огромнейший, как стадион, зал. Среди бесчисленных рядов стеллажей можно заблудиться. Книг разноцветное изобилие. Глаза разбегаются. Раньше бы купил не менее десятка, а то и больше.

А сейчас хожу, перебираю... Дорого! Но даже и не это главное. Нет желания купить. Интернет окутал сознание своей паутиной. Книга как товар, как роскошь, даже как когда-то вложение денег, погружается на глазах в Лету.

Народ освобождается от книг. Те, кто не церемонится, выбрасывают в мусорные ящики, совестливые вываливают книги на крыльце библиотек.

А мы всё пишем! Зачем? Почудилось: а вдруг в книжные магазины ходят только пи-

сатели? И стайками рыбок набрасываются на них спящие между стеллажами девчушки в оранжевых курточках:

– Вам помочь?

Поздно.

Сам по себе

Каждый живет сам по себе и собой, своими интересами, желаниями, проблемами. И ничего шире семьи его не волнует. Так, иногда, из любопытства, зависти, злобы заинтересуется чем-нибудь и то ненадолго. Поэтому так мгновенно исчезает человек после смерти. Ведь, по сути, жить для себя – это совсем не жить.

Оголились

Упал забор, и дом как оголившаяся баба. Всё на виду: сарай, туалет, брошенные ведра, тазы.

Так и человек. Стоит совершить промах – и сразу на всеобщем обозрении. Каждый жадно разглядывает прежде так тщательно скрываемое от посторонних глаз, тычет пальцем, злорадствует: глядите, какой он, а мы-то думали...

Гы-ы...

Солнышко

Середина мая. Пора бы весне передать зеленую эстафетную палочку лету, так нет, снег посыпался, мокрый, хлопьями. Мечется очумело по огороду – падать – не падать? Зачем?

Всё равно растаю! И так, раздумывая, блуждал до вечера.

Вечером рыхло-темные тучи перессорились, начали разбегаться, и в просветыглянуло синее небо. А земля-то сырая, тяжелая, заборы помрачнели, на них ни воробьев, ни ворон.

Но солнышко залило землю плотным светом, и всё: и земля, и низенькая травка, и заборы, и пёс с потемневшей от снега шерстью, и прилетевшие воробьи и вороны, и душа моя, седая от старости, – засияло, заулыбалось, заговорило, потянулось к смеющимся лучам.

Солнышко – жизнь, а жизни все рады!

Муравейник кипит

Сухие листья сухо шуршат от муравьев, словно живые. Кажется, они даже вскрикивают, думая, что это не муравьи, а искры.

Зеленовато-янтарный шмель грузно сел в брусничник, и его сразу цапнули муравьи. Шмель загудел недовольно: Ну-у вас, повылазили! – и ломанулсЯ сквозь багульник прочь.

Багульник уже развесил малиновые фонарики. Тихо светятся язычками золотистого пламени жарки. Выпускают нежные иголки лиственницы. А береза, ольха, осина голые, ни листочка.

Но пройдет неделя, навалится на землю солнце, и лес запыхает молодой сияющей зеленью, зазвенит птичьими голосами.

Пауки

Солнце скатилось, но западный край неба еще кроваво светится. На его фоне раскачивается на ветру черный, по-осеннему голый тополь. Кажется: на невидимой паутине шевелится огромный паук. А вон еще один и еще, словно на поселок напоззло полчище пауков.

Жутко, и быстрее заходишь в дом.

Сон старика

В гостях. Сажу на краешке стула. Зачем? Не звал ведь никто.

Вошла старуха. Сухая, высокая, лицо словно головешка. Взяла мою голову в руки: «Седой...»

А на стене, как коллекция, висят на гвоздиках различные мази.

Одиночество

Он спал на полу, положив рядом мобильник. Вдруг кто-нибудь позвонит! Но никто не звонил даже во сне.

Паразиты

Колхозный катер протасил на буксире два баркаса. Последний, новый, зарывается носом в волны, тычется в стороны, словно теленок. «Уросит!» – сказала бы бабушка Пана.

А следом черная туча. Бакланы.

– На невод паразиты летят! Вновь рыбаков обезжирят! – и мужичок грозит «паразитам» спиннингом.

Хочется верить

Ездили в Макарино за глиной – печь новую класть.

– А где у вас глину берут?

– Да где хочешь! Вся деревня на глине стоит! – и шустрый мужичок замахал руками, показывая место.

Глина добрая, сиреневая на срезе, словно с цементом, вязкая. В давние времена был даже кирзавод, и мой папаня с братом Ленькой – тогда еще школьниками – подрабатывали летом на изготовлении кирпичей.

Набрали глину в мешки и домой. Единственная улица вдоль реки пуста. Напротив ворот в протоке, словно в ограде, стоят сети. Здесь же незамкнутые лодки.

Посередине реки остовы ряжей, как воспоминание о времени, когда леспромхоз сплавлял лес. Сегодня ни кирзавода, ни леспромхоза, ни отца с дядей Ленею, ни той страны, только река, и хочется верить, что хоть она-то не исчезнет!

Дыбится одиночество

Глянул в зеркало. Сед, личико скукожилось, на нем высохшими ручейками разбежались морщинки.

Когда здоров, еще ничего, но стоит вылезти «болячке», сразу свинцовой плитой дыбится одиночество, давит, плющит душу. Куда бежать? Только в сон. Во сне жизнь стала свежее, острее. Приснится что-нибудь из молодости, и помнишь потом долго-долго, словно это и не во сне, а наяву было.

Да еще разговоры. Вцепишься в живого человека и говоришь, говоришь без умолку.

Никто не звонит. Никому не нужен. Ну разве псу.

Пусто

Вода в реке прибыла. Где была отмель и сияло на солнце светло-золотистое дно, темная вода.

Ветер. Волны шлепают в берег, и от него с шумным плеском отваливаются пласты, словно с берега сваливаются рыжеватые рыбины. И каждый раз оглядываешься – вдруг и в самом деле сплавился десятикилограммовый сазан?

Нет, не сазан. Волны и обрубленная полоска берега. Да еще ворона, как черный шар, переваливается по рыжеватому песку.

Пронеслась

Копал червей за вторым Братом. Земля под сухими, словно пыльными, листьями еще холодная. Черви глубоко в земле, приходится копать на весь штык лопаты.

Последний раз я копал здесь червей школьником. А лес тот же. Начинает цвести багульник. В детстве мы ели его сладковатые лепестки. Тугой, будто лакированный, сияет ковер брусничника. Ветки невысоких кедров мохнаты и нежно-зелены.

Но многое изменилось. Братья, строя мост через Баргузин, срезали. Вместо горок, с которых пацанами мчались на великах вниз, глубокий «каньон». Дыбятся по бокам дороги каменисто-глинистые красноватые стены.

Стою на дне, а память, цепляясь за милое прошлое, рисует мальчишку. Он что-то ликующе кричит, потное лицо сияет, и сердце, как и тогда, замирает от страха, когда колесо врежется в песок и велосипед начинает швырять в стороны. Ух!

И не горка – жизнь пронеслась!

Утешение

Вспомнился кот Персик, высохший до ржаво-холодной косточки, безумный, дико взрывающийся и гадающий, где попало. Даже не верилось, что был он когда-то игриво-золотистым лучиком, живым, пушистым, теплым, и всем хотелось поймать его, взять на руки, прижать к груди. Его закопали в углу огорода, где сваливают мусор.

А меня закопают на кладбище, обнесут бугорок оградкой, поставят красивый памятник. То-то утешение...

На сорог

Пошел наловить Хвату сорог. Как река обмелела! Щетинится черными топляками, столбами от старых опор, проволокой, словно перед каменистой косой, с которой устинцы ловят сазанов, грозно дыбится полоса оборонительных сооружений.

Всё это прошлое Сплава. Увы, в экономической битве 90-х леспромхоз проиграл! А когда-то здесь день и ночь кипела работа, гудели, подвозя к кабель-кранам хлысты, лесовозы, вязали в колыбелях сигары и неумоимо приземистые катера тянули их по Баргузину к Байкалу. Там, на рейде, поджидал сигары огромный пароход.

А еще раньше лес сплавляли по реке. Плыли стянутые проволокой связки бревен. Затем проволоку разрезали, связки рассыпались, и налимь, залезшие между бревен, нехотя покидали насиженные места.

Дно реки периодически чистили, и по берегам ржавыми кучами дыбилась проволока. Казалось, из воды вылезли огромнейшие ежи и греются на рыжевatom песке. Несколько «ежей» живы до сих пор.

Закинул удочку. Поплавок запрыгал на ряби красным солдатиком. Сижу, смотрю, вдыхаю весеннюю сырость реки, пахнущую гнилыми водорослями, илом, бревнами.

С шипением проносятся по новому мосту иномарки, поглядывая свысока на меня, на

развалины леспромхоза желтовато-холодными глазами. Иногда гуднут: Эй, старик! – и мимо нового кафе, на месте которого я когда-то стрелял уток, мчатся в город.

Да что мне до них!

Посвистывают кулички. Шумно, словно листы черной жести, пролетают вороны. Крачки врезаются в воду, ловко выхватывая сорожек. Иногда, чернея в синеве, пронесется стайка уток.

А вот и первая поклевка! Поплавок задрожал, его повело в сторону. Подсёк, и на крючке затрепетала серебряным листом широкая сорога.

Подошел мальчишка, похожий на хозяиственного мужичка. В руке удочка, за спиной рюкзачок. Спросил его:

– Ты где червей копаешь?

– А я осенью в ящик высыплю десятка три – они и размножаются. Сейчас уже толстые, жирные!

На душе покой. Ни о чем не думаешь, просто смотришь на поплавок да радуешься поклевкам.

– Ну, будет тебе, Хват, ушица, будет!

Незримая дверь

Заполыхали молнии. Слепящая вспышка, и запоздало наваливается рассыпающийся тяжело тугим звоном гром. Даже стёкла позванивают.

Зашумел ливень, сухо, радостно. Дохнула свежестью, словно ночь открыла незримую дверь.

Берёзки

Стог сена, этакий богатырь, зелен и весел. Но уже падал иней, сиял на травах мокро солнечной солью.

Берёзки-девушки разделись догола и поеживаются на утреннем морозце. Но всходит солнце – стволы и ветки розовеют. Кажется, они теплые. Ножки берёз по щиколотку тонут в золотом ковре.

Хочется подойти и обнять.

Октябрь

Бледное солнце. Мерзнут в туфлях ноги. Ветер перебирает ворох холодных листьев. Краснеют пятнами крови раздавленные ягоды рябин. И только сытые вороны тяжело режут пустое небо.

Вышел в ограду

В немыслимо высоченной бездне Млечный Путь, словно рой снежинок. Ковш горит ясно, он четок и огромен.

И невидимой волной накрывает поселок тяжелый гул Байкала.

Весенней ночью

Черное мохнатое небо. В темноте белеют крапинки. Это падают редкие снежинки. Луна – зеленоватая прорубь.

Пахнет горькой тяжелой сыростью и резким запахом кошачьих свадеб.

Ветер, по-весеннему мягко влажный, по-
трогал рябину, кота, мое лицо и слепо, на
ощупь, пошел по улице дальше.

Сон зимы

Пришла зима, сухо зашуршала снегом, за-
шевелилась белизной в углах ограды.

Вечер. Словно не сама зима, а её сон, ма-
тово белеющий в сумерках, опустился на
землю.

Леденцы

Апрель. Река темнеет полрой водой, на ней,
как россыпь бусинок, белеют гоголи. Снежные
гольцы Святого Носа словно проедены синью.
И солнце слизывает последние леденцы льда.

Хмарь

Мохнатая тишина, словно паук серой пау-
тиной занавесил дали. И душа моя притихла,
как муха.

Пасха

– Я к Пасхе выбелила!
– А известку где купила?
– Да сосед Ванька за две бутылки привез. Ты
зайди к нему – он и тебе привезет, – и старуш-
ки разошлись.

«Да, домик у меня, как свежеснесённое яич-
ко, сияет! Завтра куличи стряпать. Луковую

шелуху запасла – яйца, в ней вареные, будут как солнышко!» – и зашла в дом.

В нос ударил горький запах золы, сажи. Глянула – ахнула: по ослепительно белым стенам, потолку кто-то набегал. Не след – пауки огромные, черные. Рухнула на стул, заголосила:

– Да кто же этот злодей-изверг?! Дверь-то замкнута была!

В спальне завозились. Мигом схватила кочергу, ринулась в спальню – на полу желторотый воробей. Упал в трубу, перепачкался в саже, золе, вылез из печки и давай очумело летать по комнатам, биться в белоснежные стены.

– Ах, супостат! – и занесла над головой кочергу. Желторотик пискнул, сжался.

Бабка постояла с занесенной кочергой, вздохнула, вынесла воробышка в сад и до ночи перебеливала дом.

Пасха ведь скоро!

Доверчивость

К рыбакам пришли четыре гуся. Дикие, но как домашние.

– И не бояться же! Сережка, дай-ка им хлеба!

– Смотри, папаня, берут! Ручные совсем...

– Может, в парке в городе зимовали, вот их и прикормили. Эх, если не улетят, съедят их наши шакалы!

Гуси не улетели. Ходили по песку около рыбаков. Но когда Петрович с Сережкой приехали чрез день, гусей уже было трое.

– Гони их, Сережка, гони! Сожрут шакалы!

Сережка погнал гусей длинным удилищем. Гуси отлетели метров двести и вновь сели у берега. Ходили и гоготали недовольно.

Через день остался один гусь. Потом и он исчез.

Оргазм

– Попался сазан десятикилограммовый! Водил я его, водил... Думал, не вытяну – или леску порвет, или крючок разогнет. Десять килограммов! Это ж машина! Но всё же измотал его и только на берег выволок, леска лопнула! Так я, не поверишь, в молодости такой страсти не испытывал! Пал на него грудью, прижал к песку – он изгибается, подбрасывает меня вверх, а я обнял его, сжал, мокрый весь. Ну полный оргазм!

Писатель

Он так уверовал, что рожден писателем, что стал им.

Содержание

Предисловие.....	3
С открытым миру сердцем.....	3
Художественная история повседневности	6
Рассказы	8
День счастья	8
Сад	24
Мой друг Санька	29
Серебряная россыпь	39
Ондатра	42
Утиная охота	46
На озере	60
На рябчиков.....	65
Шанталык в октябре	71
Лебяжье озеро	74
В сентябре	76
Снег	78
Зачем так быстро?	81
Когда-то.....	85
Что знаем?.....	88
Где-то там за окном	90
Смех	91
«Да ну его!».....	95
Зимним вечером.....	98
Санька и взметнувшийся до неба.....	100
На весенней охоте.....	102
Вдруг вспомнилось	104
Куркули!.....	113
Гриша	114
Зачем?.....	116
Будешь?	117
Там же люди	118
Свет.....	120
Крупинки.....	122

Константин Соболев

**СТАРИК, ЗАЧЕМ ТЫ НА НЕЕ
СМОТРИШЬ?**

Рассказы

Обложка: В. Богданова

Верстка: А. Жаркой «НоваПринт»

Подписано в печать 3.06.2015. Формат 60х90/16.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Гарнитура PT Serif. Усл. печ. л. 16,28. Заказ № 610, тираж 1000 экз.

Отпечатано в типографии «НоваПринт», 670000, г. Улан-Удэ,

ул. Ранжурова, 1,

тел.: (3012) 212-220, 212-552.